

Захар Прилепин

Восьмерка

Маленькие повести



Лауреат премий
«Национальный бестселлер», «Супернацбест», «Ясная Поляна»

Новая проза

Захар Прилепин
Восьмерка (сборник)

«АСТ»

2012

Прилепин З.

Восьмерка (сборник) / З. Прилепин — «АСТ», 2012

ISBN 978-5-271-41086-4

«Восьмерка» – новая книга повестей Захара Прилепина. Его герой вырос из пацанских историй, но не стал ни представителем офисного планктона, ни успешным бизнесменом. Он честно делает свою работу – немодную и плохо оплачиваемую, но любимую, – много думает и мечтает о небогатой тихой жизни – какой жили его родители... Кто он – маргинал или герой нашего времени?

ISBN 978-5-271-41086-4

© Прилепин З., 2012

© АСТ, 2012

Содержание

Витёк	5
Восьмерка	15
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Захар Прилепин Восьмерка (сборник)

Витёк

– Москва поехала! Собирай обедать, мать! – говорил отец, заходя в дом.

Пацан улыбался ему. У отца все время был такой вид, словно он поймал большую рыбу, которая у него в мешке за спиной трепещет хвостом.

Бабушка выглядывала в окошко. По насыпи мимо деревни пролетал сияющий состав.

В книжках шум поездов описывался странным «тук-тук-тук-тук, ты-тых-ты-тых» – но звучанье состава, скорей, напоминало тот быстрый и приятный звук, с которым бабушка выплескивала грязную воду из ведра на дорогу. Состав будто бы сносило стремительным водным потоком. Казалось, зажмуришься в солнечный день, глядя составу вслед, – и разглядишь воздушные брызги и мыльные пузыри, летающие над насыпью.

По Москве, часа в четыре, обедали – когда дневной состав проходил в столицу, – и с Москвой, в девять с мелочью, ужинали – когда состав мчался оттуда. Если днем, на солнце, состав смотрелся будто намыленный, то вечером напоминал гирлянду.

Утром тоже был рейс, но мальчик в это время спал, бабушка возилась с коровой, а отец уходил на работу в котельную и там, наверное, время от времени похмелялся с Москвой.

Однажды пацан, перегуляв, на ночь выпил шесть кружек воды, утром, встав на три часа раньше обычного срока, припрыгивая, выскочил на улицу и наконец стал свидетелем того, как проходит первый состав. Он был схож с длинной рыбой, показавшейся на поверхности воды и тут же пропавшей в белесой глубине. Пацан еще толком не раскрыл глаза, когда раздался этот настигающий плеск, – а когда все-таки разлепил ресницы – только птица зигзагами летала над насыпью, словно ее полет спутал огромный ветер.

...залил себе всю калошу, пока смотрел на птицу.

Пацану было семь лет, отец выучил его буквам.

Пацан ровно накусал пассатижами проволоку, найденную в сарае, затем, сверяясь по книжке и кряхтя, как бабушка, смастерил десятка полтора разных букв. Сначала чтоб хватило на свое имя, потом – на имя коровы, после смешал оба слова и, поковырявшись, набрал на Москву, которая носилась туда-сюда по путям.

Ходить к насыпи ему запрещали.

Зимой, сквозь рыхлые снега, наверх было не забраться. Осенью и весной насыпь была грязна и неприступна. Пацан подступался как-то – вернулся домой измазанный с головы до пят, бабушка оббивала его сначала на улице, потом оттирала в прихожей, потом домывала на кухне.

Зато летом... летом там цвели такие буйные цветы – издалека казалось, будто они катаются на санках: все было белое, красное, шумное, все кудрявилось и кувыркалось через голову. Взгляд скользил, когда пацан глядел на эту красоту.

Засыпая, он все никак не мог понять, как цветы прижились вдоль отлогой, крутой насыпи – им же приходится расти не вверх к солнцу, а куда-то почти в сторону, набок. Солнце греет им стебли и затылки, а не макушки.

...висит цветок, заслонившись рукавом от света, и сверху проносится состав...

Внизу, под насыпью, цветы пахли цветами – аверху, ближе к рельсам, их становилось все меньше, и редкие ромашки отдавали пылью, мазутом, гарью.

Пацан залез вверх перед обеденным поездом, разложил буквы на рельсе, друг под дружкой.

Сначала они лежали спутано, но, решив, что это непорядок, пацан выложил их как положено в слове «Москва».

Часто оглядывался – не идет ли, взметая птиц и мыльные пузыри, сшибая слепней и пчел, состав.

Внизу, на поле, паслись коровы – их в деревне осталось три.

Одна – их Маруся, неспешная и отзывчивая, как бабушка. Другая – ближнего соседа по прозвищу Бандера, такая же рыжая, как он. Третья – соседа по прозвищу Дудай – черной масти и дурная, тоже понятно в кого.

Дудай, когда гнал корову домой, прикрикивал: «Хоп-хоп! Иди, ай!» Бандера раз в минуту повторял: «Цоп-цобе! Цоп-цобе!» И лишь бабушка пригоняла корову молча, потому что Маруся и так знала, куда идти.

Сейчас коровы щипали траву, обмахиваясь хвостами, или, вытягивая шеи, громко мычали в сторону путей, будто призывая состав.

Пацан сполз вниз, сминая цветы, и долго ждал поезда. Гораздо дольше, чем предполагал. За это время он оборвал лепестки у всех ромашек вокруг. Ромашки стояли лысые и противные, как новобранцы. Мухи садились на них, а пчелы уже нет.

Пацан не двигался и старался не дышать.

Совсем близко из норы вылез суслик и поднялся на задние лапки, маленький и непроницаемый, как японский божок. Он изредка принимался к воздуху.

Пацан сморгнул, и суслик пропал.

На минуту задумался, как же проживает суслик вблизи путей: у него же в норе, наверняка, вся мебель дрожит и осыпается, когда мчит московский.

Состав вылетел будто из засады. От него шел жар, а ветер несся и впереди, и позади, и по бокам состава, заставляя кланяться травы и кусты.

Жар этот был вовсе не такой, как от бабушкиных сковородок, – он пах серой, а не подсолнечным маслом. И сам состав был полон скрытым гулом, как будто внутри его находились тысячи бешеных пчел.

Пацан вдруг, на долю секунды, явственно увидел девочку в окне, радостно указывающую в него пальцем. Поезд несся так быстро, что пока она не сжала кулачок, пальчик успел показать на всех коров, котельную, старые склады, кладбище и начинавшийся за ним лес.

Когда родители девочки, наконец, подняли глаза, чтоб разглядеть причину ее удивления, – взгляд их упал как раз на косые кресты и неряшливые надгробья.

Кладбище было обнесено железной оградкой только со стороны села, а дальний его край, уходящий в деревья, был открыт настежь, словно покойным только к живым людям не стоило ходить, а в лес – пожалуйста.

Пацан иногда представлял, как могилу деда навещает медведь, или волк... или компания загулявших зайцев.

Немного подождав, пока не удалились все опаленные всадники, сопровождавшие состав, пацан поспешил к рельсам.

Буквы смотрелись замечательно. Они расплавились и стали не толще пчелиного крыла... ну, хорошо – трех пчелиных крыл.

Пацан бережно собрал еще горячие сколки алфавита.

С другой стороны насыпи была воинская часть.

Солдат там с каждым годом становилось все меньше; отец сказал, что скоро часть вообще прикроют – стратегического значения у нее не было никакого. Раньше за селом была станция и даже одноэтажное здание вокзала, ради него и была построена котельная. Но на вокзале

давно уже не останавливались никакие поезда. Он пустовал, пылясь и осыпаясь. Котельная обогревала сама себя и магазин. Защищать тут, кроме трех коров, было некого.

Несколько лет назад солдатики ходили в деревню за молоком, а потом перестали. Расхотелось, наверное.

Но в части еще дымили котлы, маршировали новобранцы, изредка громыхал мат. Все отсвечивало на солнце: спины, кастрюли, окна, плац, кокарда офицера. Два срочника, зашкеревшись, курили в кустах за столовой.

Солдаты сверху смотрелись как игрушечные.

Пацан немного поиграл ими в войну, подводя полчища врага с восточной стороны части, но срочники, сидевшие за столовой, так и не обратили внимания на топот копыт и скрип тысяч повозок, поэтому пацан поспешил домой.

В одной руке у него были буквы, другой он пытался удерживать себя за цветы, отчего, когда сполз с насыпи, рука стала зеленой и вся горела.

Одна ладонь была горячая от букв, вторая от стеблей.

– Москва проехала, пора вечерять, – сказал отец, но голос у него был такой, словно рыба ему попала дурная, с родимым пятном, с бледным больным глазом: и выбросить жалко, и есть страшно.

– Ты зачем лазил на пути, бродяга? – спросил пацана отец, усаживаясь за стол.

Бабушка поставила мужикам тарелки и тихо, словно пугаясь, звякнула ложками.

Пацан молчал.

Отец начал смуро есть, изредка поглядывая в окно.

Он сроду не тронул сына, но пацан все равно его боялся.

Бабушка не желала приступать к еде, пока за столом не воцарится мир. Ей казалось, что возьми она хлеб или, упаси Бог, ложку – все вообще пойдет наперекосяк.

Отец, на мгновение позабыв, что ему положено быть суровым и строгим, спросил у бабушки:

– А чего сарай открыт? – и кивнул за окно.

– Да два цыпlockа куда-то потерялись. Звала-звала, нету.

– Это бандеровский кот, – сказал отец уверенно. – Я сказал уже Бандере: прибью иуду.

– Ой, да не бандеровский, – сказала бабушка. – Он лентяй, лежит целый день – кот Бандеры... Какие ему цыпlockи! Его хоть за усы тащи – не проснется.

Пацан, сообразив, что от него отвлеклись, вдруг высыпал на стол буквы. Под вечерней лампой они отсвечивали, как серебряные. Расставил их в форме слова «Москва».

Отец, прищурившись, смотрел.

– Красиво, – сказал. Потянулся и взял одну из букв.

Бабушка тоже полюбовалась, но прикоснуться не решилась.

Пацан быстро доел свою картошку, выпил молока и ушел в комнату читать книжку. Детских книжек в доме было три – одна в картонной обложке, а две другие без обложек и названий.

– Откуда ты прознал о насыпи-т? – спросила бабушка на кухне.

– Бандера сказал, – ответил отец, щетинисто усмехаясь. – Все, наверное, решал: как ему приятней будет – что этот бродяга снова полезет под состав или что я его вздую дома. Выбрал: лучше, если вздую.

По молчанию бабушки было слышно, что она не согласна с отцом. Бабушка считала Бандеру неплохим мужиком.

Она всех людей считала хорошими.

Для бабушки любое человеческое несчастье было равносильно совершенному хорошему делу. Мужик запил – значит, у него жизнь внутри болит, а раз болит – он добрый человек. Баба гуляет – значит, и ее жизнь болит в груди, и гуляет она от щедрости своего горя. Если кому

палец отрезало на пилораме – это почиталось вровень с тем, как если б покалеченный весь год соблюдал посты. У кого вырезали почку – это все одно, что сироту приютить.

У бабушки это очень просто в голове укладывалось.

Бандера жил с женой и тремя маленькими внуками. Какого они пола, пацан толком так и не знал – детей редко выпускали за ворота. Они попискивали где-то в глубине дома или в коровьем стойле, куда их перетаскивали, когда Бандера доил коров – он сам доил.

Пацан как-то слышал, что раньше неподалеку от деревни была тюрьма, где сидел то ли отец, то ли дед Бандеры – и, выйдя на волю, остался тут жить. Но род их всегда вел себя скрытно, негромко.

Пацан иногда подолгу стоял у Бандерина дома – понапрасну ждал, что его подпустят к детям, он бы поиграл с ними.

В былые времена в Бандерином дворе всегда обитало множество разнообразных, шумных и пушистых собак. Жена Бандеры собирала их и сдавала на шкурки в какую-то живодерню.

У них был сын, белесый, рослый, видный. Кому-то подражая, рубашку носил всегда с завернутыми по локоть рукавами. Наглядевшись на него, пацан тоже стал носить так же – подворачивал свои обноски, начиная с первых майских дней. Руки только мерзли все время.

Сын женился на местной девке, быстро наплодил троих, потом сошелся с какой-то городской и пропал. Невестка осталась жить у Бандеры в семье.

Разве бабушка могла после этого плохо думать о Бандере?

– Бандера! – дразнил ее отец, – Приютит детей! Чужих, что ли, приютит? Своих же! Куда ж им скопленные собачьи деньги тратить! Они ж собак всю жизнь резали на мясорезке! Подрастут щенки – и под нож! Вот сынок и вырос такой! Он привык, что с щенками так можно: поиграл и забыл...

Бабушка молчала так, что пацан понимал: она согласна с отцом. Согласна, но не осуждает все равно ни Бандеру, ни сына его, ни невестку, ни Бандерову жену.

На всю деревню полная семья осталась только у старшего Бандеры и Дудая. Все остальные мужики либо бедовали по одному, либо домучивали своих матерей.

Те из женщин, что вовремя не сбежали с дембелями, обитавшими в воинской части, из девичества сразу торопились в сторону некрасивой, изношенной зрелости, чтоб ничего от жизни больше не просить и не ждать. Ели много дурной пищи, лиц не красили.

Дедов в деревне не было вовсе, деды перевелись. Детей тоже почти не водилось, одна бандеровская мелкота. Подросшие сыновья Дудая пару лет назад переехали в город и там то ли учились, то ли работали – или и то и другое.

Средняя школа была только в соседней деревне, за двенадцать километров, отец ездил туда, договорился, что будет учить пацана дома и два раза в год привозить его сдавать экзамен.

Зимой село будто спало, лежа на спине, с лицом и животом, засыпанными снегом. Отец иногда собирался и, прихватив охапку дров, шел затопить печь к соседским алкоголикам. Те могли замерзнуть с перепою, когда не топили дня по четыре.

Заставал их, лежавших под ворохом телогреек, одеял и тряпок, скрючившихся и посе-ревших.

Раньше в деревню наезжал трактор, проделывал дороги, но сейчас в этом необходимости не было – дорога была одна – ведущая к магазину, ее раскатывала шишига, которая раз в неделю подвозила продукты. Меж остальными домами только натапывались тропки, и то терпящиеся после трехдневных снегопадов.

Вдоль тропок виднелись желтые прогалы, оставляемые двумя деревенскими кобелями.

Прошлую ледяную зиму случай был. Бабушка выглянула в окно и спрашивает отца:

– Чёй-то не пойму, чьи собаки во дворе суетят?

Посмотрел отец и хохотнул:

– Это волки, мать.

В дверях раздался ужасный скрежет, пацан потерял от страха дар речи, да и бабушка напугалась.

Отец пошел открывать, бабушка глянула на него так, словно он собирался поджечь дом.

– Волки не полезли бы в двери, – сказал отец хрипло и негромко: – Это не волки.

Распахнул дверь, и в избу влетел дудаевский кобель, вечно круживший по деревне без привязи, – глупый, крикливый и хамовитый. Но тут он улыбался и заискивал всей мордой. Показалось, что кобель только притворялся злым и бестолковым – а сам все понимает, и попроси его сейчас встать на задние лапы – он встанет и постарается станцевать.

Совершенно очевидным образом поздоровавшись и с бабушкой, и с отцом, и приветливо кивнув пацану, которого до этого никогда не привечал, дудаев кобель мелькнул под кровать и затаился там, не дыша.

– ...корова-то, – сказала бабушка, не находя себе места. – В коровник-то волки?..

Пацан вдруг услышал, как истошно замычала Маруся.

– Нет-нет, куда они... – сказал отец. – Кирпич!.. Крыша. Не влезут.

Но сам тем временем нашел таз с молотком, и, распахнув окно, начал изо всех сил бить железом о железо, прикрикивая: «Пошел! Пошел! Гуляй в лес!»

Через минуту, взяв топор, быстро распахнул дверь и шагнул на улицу – а бабушка, опасливо, за ним.

Никого не было.

Корову Марусю едва успокоили.

Дудаев пес так и не ушел до утра – лежал у дверей, не шевелясь, чтоб никто его не заметил.

В ту ночь волки пожрали всех бандеровских собак – их, кажется, оставалось тогда то ли четыре, то ли пять, все некрупные и пушистые.

С тех пор Бандеры собак не держали. Кота завели.

Зато Дудаев кобель стал еще злей – завидев пацана, всякий раз неся на него с бешеным лаем – казалось, что сейчас сшибет с ног и вырвет все кишки наружу. Только за три шага сбавлял бег и смыкал мокрую зубастую пасть и, высоко подняв голову, молча пробежал мимо и спешил дальше, не оглядываясь и задрав твердый, как палка, хвост.

С отцом пес таких забав проделывать не решался, и облаивал его, стоя метрах в тридцати, – зато самым обидным, блеющим каким-то лаем.

Отец шел, будто не обращая внимания, но, обнаружив вдоль дороги камень, резко приседал – и через секунду, сглотив лай, пес исчезал в ближайших зарослях. Некоторое время отсиживался там, а потом спешил к Дудаеву дому за своей похлебкой.

Дудай приехал в деревню за год до рождения пацана.

Отец все время говорил, что Дудай жил на горе, и пацан иногда пытался представить, как это было. Получалось что-то вроде насыпи, только каменное, – по нему ходит Дудай, только вместо коровы у него козлы с рогами, и брехливый кобель охраняет их.

Пацан выскочил на улицу, слышав жуткий кошачий крик, – никогда бы не подумал, что коты могут так орать.

– Петуха, бля... – кричал отец, – петуха нашего хотел задрать. Я ж говорил, эта бандеровская сволочь некормленная... Иуда, бля!

«Бля» он произносил как с призвуком «ы», и с плотным «л» – «былля», от этого ругательство звучало тяжелей и весомее.

Пацан присмотрелся и увидел кота с разбитым черепом, вцепившегося передними лапами в забор так, что когти впились на сантиметр. Возле мертвого кота валялась мотыга –

неясно было, то ли отец так умело метнул ее, то ли сам нагнал кота у забора и зарубил в ближнем бою.

Петуха пацан заметил, еще когда выбегал из дома, – ошарашенная птица, лишенная хвоста и с окровавленным гребнем, ничего не видя, семена пьяными ногами и невпопад помогая крыльями, торопилась в сарай.

Там забрался под насесты, в самый угол, и сидел, перемазанный куриным пометом, зажмурившись и тихо дрожа.

Бабушка все боялась взглянуть на кошачий труп и охала.

Отец поднял кота за шиворот и выбросил на дорогу.

Бандера уже приближался, кривя лицо и пристально глядя на кота, будто пытаясь наверняка убедиться, что он подох.

Пацан до сих пор толком не знал, какое у Бандеры лицо – глаза и лоб у него вечно были в тени густых волос, а рот прятался в усах.

Однажды Бандера приснился ему, и пацан точно разглядел его во сне – но потом днем присмотрелся повнимательнее – и понял, что нет – не такой был ночью.

Дойдя до кота, Бандера остановился и, не поднимая глаз, сказал:

– Я завтра твою корову мотыгой порублю.

Отец, стоявший с мотыгой у забора, легко ответил:

– А я тебя.

Бандера потоптался возле кота и сказал:

– Сука.

Отец щетинисто хохотнул:

– Последняя сука – это ты. Ты в собачий ад попадешь. Сколько собак вы порезали – столько тебя и будут грызть.

Бабушка стояла окаменевшая – перечить мужику она не умела никогда, пусть это даже и сын. Она и внуку-то – пацану – тоже ни в чем никогда не перечила, будто раз и навсегда зная о его мужицком превосходстве.

Отец глянул на бабушку, и она поспешила во двор, чтоб не мешать разговору.

Никто и не заметил, как появился Дудай, – на него подняли глаза, только когда его глупый пес зашелся в лае, то подскакивая к забору, то отбегая.

Дудай был черноволос, кривоног, лобаст. Он часто скалился, и казалось, что это от него кобель усвоил такую повадку.

– Ну и я тоже загляну в собачий ад, похоже, – негромко добавил отец и крикнул Дудая: – Утомони свою сволочь, мозга вскипают!

К пацану Дудай был всегда приветлив, угощал его карамелью. Но с отцом они давно не ладили – Дудай ревновал его к своей жене; может, и даром – пацан слышал как-то, что бабушка уговаривала отца: «Отвяжись от нее, он же пожжет нас – мусульман». Слово «мусульманин» у нее было короче на слог. Слушая бабушку, пацан отчего-то вспомнил, как сам Дудай, придя в сельмаг, привычно щиплет то одну, то другую оплывшую бабу за всякие места, а те смеются.

– Собака свободный зверь, хочет – лает, – подумав, ответил Дудай отцу, глядя на дохлого кота.

– Ну, как скажешь, – ответил отец и с оттягом метнул мотыгой.

Мотыга была короткая – сделанная под совсем невысокую бабушку.

Кобель, заметил пацан, увиливая от удара, на мгновение умудрился встать буквой «Г» – вывернувшись половиной туловища – но ему все равно досталось деревянным черенком ровно по хребту.

В отчаянье и ужасе пес метнулся и угодил прямо в ноги Бандере, что окончательно разозлило его.

Пацан и не помнил кто и что закричал, как отец очутился посреди дороги и снес Бандере скулу размашистым ударом, но тут же ему куда-то в живот, по-борцовски, бросился Дудай, и отец оказался на земле, головой к своему забору, в не просыхающей даже летом грязной и пахучей луже.

Лужи оставались по всей улице даже в самое жаркое лето, – может, оттого что помойную воду выплескивали прямо от двора.

Отец изловчился подняться, прихватив кровавого кота и тут же швырнул им в Дудая. Но через мгновение Бандера, боднув отца твердой головой в спину, уронил его в соседнюю лужу.

Усевшись ему на спину, Бандера тыкал отца в самую жижу, будто хотел его досыта накоормить.

Расхрабрившись и напрочь ошалев, Дудаев пес вцепился отцу в бедро, и отец, заслоня одной рукой затылок от мужицких тычков, другой силился дать животному всей пятернею по глазам.

Пацан в ужасе осмотрелся, а потом, ничего уже не думая, схватил полено и бросился на помощь отцу. Следом выбежала из калитки напуганная дикими криками бабушка.

Пацан, не умея как следует размахнуться, тыкал поленом в собаку, отчего та становилась лишь злее. Бабушка, боясь притронуться к любому из мужиков, с причтом становилась то на пути Бандеры, то на пути Дудая. Они стремились оттолкнуть ее и снова достать грязного, как грех, отца сапогом по ребрам, а лучше по голове.

Всех остановил неожиданный железный визг на путях, хорошо видных с дороги. Мужики воззрились на вдруг затормозивший дневной состав.

Такого никогда не было.

Даже Дудаев пес отцепился наконец и, встав неподалеку, начал облизываться.

Отец свез тыльной стороной ладони грязь со лба и с губ.

– Да ни хера мне не будет, – сказал отец.

Бабушка выставила ему на лавку таз с водой и суетилась возле с тряпкой, залитой чем-то пахучим, вроде самогона.

Отец увиливал лицом от тряпки, которой бабушка норовила промокнуть ему бровь и щеку. Морщась, он стягивал штаны и рубаху.

У отца, в который раз заметил пацан, темным было только лицо и треугольник на груди – от выреза рубашки, которую он не снимал все лето. Все остальное белело в полутьме избышки, и на этой белизне особенно жутко смотрелись набухшие синяки и ссадины.

Бедро тоже было прокусано, но, слава богу, не в лохмотья, не мясом настезь, как могло бы показаться по разодранным вдрызг брюкам.

На эту рану отец резко плеснул прямо из склянки, принесенной бабушкой, – и сидел, сцепив зубы, глядя куда-то мимо икон.

Выхлебал ту же склянку в несколько крупных глотков и, зачерпнув ладонью из таза, запил отраву.

В этом же тазу помыл руки, поплескал на лицо, бровь все протекала, и отец прижал ее ладонью, а другой рукой ткнул кнопку радио, всегда стоявшего на подоконнике.

В Москве война, в Москве злоба и коловорот – затрещало радио на все голоса. Москва горит, бьет витрины и пугается ездить в метро. Казалось, что все сидящие в радиоточке норовят выхватить друг у друга микрофон и оттого говорят все быстрее и быстрее.

Ничего не понимая, пацан трижды обошел вокруг стола, пугаясь смотреть в таз, где плавали красные пятна, которые никак не могли полностью раствориться в воде, словно отцовская кровь была очень густа.

Пацан почти беззвучно встал на стул и вытащил буквы, которые прятал за иконами.

Выложил на столе круглое слово из шести букв.

Московские здания, которые теперь стояли в дыму, представлялась ему похожими на эти серебряные буквы – только зданий было не шесть, а тысячи, и все они сияли, огромные, словно зеркала до небес.

Еще Москва была похожа на разукрашенную заводную игрушку. Поезда светились на ней, словно бусы, во лбу горела звезда, все внутри нее стрекотало, гудело, искрилось.

– Сходи к насыпи, – вдруг сказал пацану отец, все время выглядывавший в окошко одним глазом, а второй пряча под рукою. – Посмотри, что там.

Пацан тихо, – будто пугаясь, что отцу больно не только от ссадин, но от любого громкого звука, – вышел на улицу.

...на веревке дрожало стиранное белье – раньше пацан думал, что это скорость налетающего и убегающего состава заставляет трепетать землю, – но вот состав встал, а белье все дрожало...

Он вспомнил, как на него, указывая пальцем, смотрела из окна состава девочка, словно мальчик в траве был чем-то удивительным, вроде зверя.

Почему-то он подумал, что девочка вновь сидит там, в составе. Он вообще был уверен, что в поезде из раза в раз ездят одни и те же люди.

Сейчас, решил пацан, надо найти эту девочку, – и тогда она рассмотрит его и убедится, что он не зверь.

Пацан остановился возле бабушки, которую впервые за семь лет своей жизни увидел ничем не занятой. Бабушка сидела на лавке и смотрела в поле.

Пацан путано сказал ей про состав и про девочку, смотревшую на него, как на зверя.

Бабушка помолчала и еле слышно ответила:

– Все мы тут... Все как... – поднялась и побрела во двор, еле ступая.

С минуту пацан разглядывал пустую улицу – не ходит ли там Бандера.

Наконец, вышел со двора.

Кота уже не было.

Возле Дудаева дома пацан сбавил шаг, ожидая собачьего бреха, – и угадал. Осклабясь, кобель вырвался невесть откуда и, присев на задние лапы, хрипло заорал пацану в колени.

Мальчик так и погиб бы от ужаса, но со двора выбежал Дудай с метлой в руке и, страшно ругаясь, второй раз за день угодил собаке по хребту.

– ...иди, не бойся, – сказал Дудай. – Я эту сволочь привяжу.

И побежал, размахивая метлой, куда-то вниз по улице, вослед ошарашенному кобелю.

Из состава под буйное июльское солнце вылезали разнообразные пассажиры.

В первом вагоне почти все почему-то были в пиджаках и с небольшими портфелями, удивился пацан. Зато в других вагонах люди оказались самыми разными, разнообразно и хорошо одетыми, многие с красивыми сумками на колесиках.

Люди, видимо, не понимали, куда идти, – и, чертыхаясь, стремились к концу состава, чтоб не стоять у него на путях.

Там, за составом, пассажиры и выстроились, будто собирались все вместе толкать его.

Пацан спешил вдоль состава туда же, но чуть ниже по насыпи, словно не решаясь спутаться с пассажирами. Он цеплялся за цветы, вырывая стебли.

Кто-то ругался с проводником, и проводник, почти плача, отвечал: «Разве я виноват? При чем тут я?»

Состав был уже совсем пустым – и так странно смотрелись его окна, лишённые человеческих лиц, спин, рук...

Только по одному вагону пробежал очередной испуганный проводник, а по другому шли двое военных, о чем-то разговаривая.

Когда состав закончился, пацан решился забраться чуть выше и заметил в толпе девочку. Та самая, сразу решил он. Тем более что девочка тоже смотрела на пацана, часто моргая.

Пацан, оборвав еще десяток-другой цветов, поднялся к ней.

– Я не зверь, – сказал он.

Девочка кивнула.

– Я Виктор, – добавил он. – Это мое имя.

На пацана смотрели многие пассажиры, хоть от него ожидая вестей – потому что ждать их было больше не от кого. Мобильные у многих не работали. Люди выкрикивали в них отдельные слова и потом снова остервенело тыкали в кнопки.

Кто-то поймал пацана за рукав, он обернулся и увидел сначала живот в белой расплывшейся рубашке, а потом огромное, почти красного цвета мужское наклонившееся лицо:

– Ты местный? – спросил мужчина, дыша тяжело и пахуче. – Тут трасса есть?

Пацан молчал.

– Дорога есть? – громко переспросил он.

– Вон, – показал пацан, стремясь соскочить рукавом с мужского пальца.

Мужчина глянул, куда показал пацан, и увидел два изрытых, в огромных лужах, сельских пути: один путь от крайнего Бандерина дома до крайнего с другой стороны отцовского, другой путь – накрест, от околицы до котельной и кладбища.

– Всё? – спросил мужской голос, но пацан уже отцепился и поспешил дальше.

С другой стороны насыпи к составу поднимались колонной вспотевшие срочники, ведомые несколькими строгими офицерами.

У каждого на плече стволом вниз висел автомат. Пилотки были поддеты под погоны – то ли от жары, то ли они валились с голов, пока солдатики ползли наверх. Даже офицер нес фуражку в руках, сбивая ею слепней и обмахиваясь.

Мужчина с огромным лицом поспешил к офицеру, попытался и его подцепить за рукав, но тот, чуть дрогнув щекой, ответил внятным голосом:

– Транспорта нет, и не будет. Дорога от воинской части есть, но по ней почти никто не ездит. Пешком до точки вашего назначения триста пятнадцать километров. До ближайшей трассы тридцать.

– Там же останутся, в поезде, места! – сказал мужчина, но офицер, наконец, вдел голову в фуражку и, скомандовав: «В колонну по одному!» – первым поспешил к составу, ни с кем больше не разговаривая.

Срочники, словно стесняясь, шли меж пассажиров. Пацан смотрел на их бритые головы и вспоминал ромашки с оборванными лепестками.

По одному, как муравьи, срочники вползли в состав.

– В часть не положено! – отругивался где-то оставшийся здесь толстый и очень потный прапорщик. – Не положено! Военный объект!

Из нескольких дверей состава выглянули быстрые лица проводников.

Прошипев, состав закрыл двери и медленно тронулся.

Пацан поспешил вниз, словно опасаясь остаться наедине со всеми этими людьми.

Уже внизу он обернулся и увидел, как несколько человек тоже поползли вниз. У кого-то сорвалась тяжелая сумка и стремительно заскользила по траве – потом поймала кочку, и подпрыгнув, начала скакать во все стороны, ударяясь разными углами.

Из окна избы было заметно, как люди идут по за вечеревшей улице.

Пацан выискивал глазами девочку, но никак не мог найти.

Зато все попадалась тетушка, которая с трудом волочила чемодан на колесиках, а тот залезал в лужу, и там колесики уже не крутились.

Тетушке помог один человек, второй, третий – а сумка все вредничала и норовила в грязь.

Кто-то поспешил к магазину, который, конечно же, был закрыт.

По несколько человек останавливалось возле каждого дома. Больше всего у тех изб, что смотрелись строже, чище, больше. У Дудая встали многие, у Бандеры многие – и возле избы, где жил пацан, – тоже.

Стояли и смотрели в окна.

Пришедшие молчали – будто не были уверены, что селяне поймут их язык и вообще обладают речью.

– Москва пришла, собирай ужинать, мать, – засмеялся отец.

Восьмерка

Шорох позвонил в пять утра на домашний, говорил коротко, ненапуганно:

– Меня замесили трое в «Джоги», они до сих пор там, подъезжай, я наших обзвонил, скоро будут.

Обычно я сижу на диване тридцать секунд, прежде чем встать, – но тут сосчитал до трех и побежал к ванной. Зубы надо обязательно почистить, а то вдруг выбьют сегодня.

«Джоги» на другом конце нашего городка. Общественный транспорт в такое время возит только работяг – и то в обратную от ночного клуба сторону... если вызвать такси – оно тоже явится не раньше чем через двадцать минут... самый верный вариант – поймать тачку на дороге.

На том и порешил.

Джинсы, шершавая рубашка навывпуск, ботинки, куртка. Часы еще. Только браслет у них раскрывается, если сильно взмахнуть рукой. Минут через пятнадцать точно взмахну.

На улице холодно, седьмое марта, мерзость.

Ловя попутку, сильно жестикулировать нельзя, а то подумают, что пьяный, и не остановятся.

Нашел место между луж, поднял руку.

Работы в городе все равно нет никакой, калым был нужен многим, и тормознул самый первый. Второй тоже тормознул, но было поздно.

– Северный микрорайон, – сказал я водителю, заползая на задние сиденья.

Цену он не назвал, но у нас пятьдесят рублей – от края до края в любое время, так что не о чем торговаться.

Только тут я вспомнил, что денег у меня нет; мало того, их и дома не было.

Зарплату нам не платили уже три месяца, зато дважды выдавали паек консервами. Я ими до сих пор не наелся. Тушенка, пахучая, как лошадь, сайра, розовая и нежная настолько, что две банки за раз без проблем, консервированная гречневая каша с мясом – ледяная и белая, как будто ее привезли с Северного полюса. Если разогревать эту гречку – каша сразу становится черной, как будто ее сначала пережарили, а потом уже разложили по банкам, что до мяса – оно тает на глазах, и остается только жирная вода по краям сковородки. Чтоб все мясо не растаяло, приходится снимать сковороду с огня раньше времени – и глотаешь потом гречневые комки с одной стороны горячие, как огонь, а с другой – ледяные и хрусткие.

Но тоже вкусно.

– Куда так рано? – спросил водитель, который сначала, по местному обычаю, сидел с лицом неприветливым, как рукав телогрейки, а потом сам заскучал от своей хмурости.

– Езжай быстрее, жена рожает, – соврал я. Не было у меня никакой жены.

– Нашли время, – сказал он, почему-то снова озлобась.

– Тебя ж нашли время родить... – сказал я, подумав. – ...Вон к «Джоги» рули.

– Она у тебя в клубе рождает? – спросил он.

Отвечать мне не пришлось, потому что фойе клуба стеклянное – и пока мы подъезжали к ступеням, все происходящее успели рассмотреть.

Лыков, Грех и Шорох работали руками и ногами; те, над кем они работали, расплзались по углам, как аквариумные черви. Стекло то здесь, то там было в красных мазках, странно, что его не разбили.

Я выпрыгнул из машины, и хмурый сразу умчал, тем самым разрешив мою проблему с оплатой его труда.

Когда я ворвался в фойе, никакой необходимости во мне там не обнаружилось. Победа была за нами как за каменной стеной. Даже пнуть кого-либо ногой не имело смысла.

Сама атмосфера в фойе была спокойной и рабочей. Лыков поднимал с пола борсетку, которую, наверное, сразу осмысленно выронил, как только вбежал. Грех хлопал по карманам в поисках зажигалки и никак не находил. Шорох гладил скулу и сосал губу.

Три вялых полутрупа лежали по углам. Один свернувшись, как плод в животе, другой ровно вытянувшись вдоль плинтуса, третий засунув голову меж коленей и все это обхватив длинными руками – так что получился почти колобок – толкни и покатится по ступенькам, никак не возражая.

Тот, что вдоль плинтуса, был без ботинок, который плод в животе – с оторванным воротником, а колобок сидел в луже крови и подтекал.

– Пойдем? – сказал Грех, наконец, прикурив.

Тут из клуба выглянул в фойе местный диджей, знакомый мне пугливый очкарик с неизменной слюной в уголках рта. Поводил глазами туда-сюда, то ли считая, то ли опознавая полутрупы.

Получилось так, что я стоял ровно посередь поверженных, а Грех, Лыков и Шорох уже у выхода – но с таким удивленным видом, как только что вошли. Завидев очкарика, Грех сказал мне, кивнув на битых:

– Ну, ты уделал пацанов, бес. За что хоть?

Я хмыкнул, довольный юмором.

Очкарик не без ужаса глянул на меня и пропал. Мои пацаны коротко хохотнули.

Лыков был чернявый, невысокий, похожий на красивого татарина парень, в юниорах брал чемпиона Союза по боксу. Дрался всегда спокойно и сосредоточенно, с некоторым задумчивым интересом: оп, не упал, оп, а если так, оп, и вот еще снизу, оп.

Грех, напротив, дрался, как чистят картошку в мужской компании, – весело, с шуточками, делая издали длинные пассы и попадая в любую кастрюлю так, что холодные брызги летели во все стороны. Если прилетало ему – то стервенел, хватал что ни попадая с земли, потом сам не помнил, как дело было.

Шорох славился беззлобностью характера, почти всегда улыбался, шурились разноцветные глаза. Лицо у него было как будто обмороженное – оттого на его щеках всегда странно смотрелась щетина: бомжа напоминал. Но ему шло, мне он казался симпатягой, только девушки не всегда разделяли мое мнение. Что с них взять, дур.

Дрался он всегда будто бы понарошку, никого всерьез не желая обидеть, но вместе с тем умело и быстро.

Он вкратце рассказал, что доколебались к нему вообще без повода – опустевший клуб скоро уже закрывался, а Шорох сидел где сидел неподалеку от этой троицы и ленился идти домой – дома у него, без сна и покоя, шло постоянное родительское бухалово, которое он не разделял и видеть не хотел.

– Чего тебе надо тут? – спросил у него один из трех.

– Ничего, сию, – сказал Шорох, улыбаясь.

– Вали отсюда, – сказали ему. Может, подслушивает.

Шорох хмыкнул и остался сидеть, качая ногой.

Через три минуты эти вызвали его в туалет – «Ты чего какой непонятливый?» – и не смогли, придурки, даже свалить, хотя все были парни качественные, при плечах и шеех. Месили втроем, Шорох нырял, уходил, нырял, уходил, потом дыханье кончилось, забился в угол, но так и не упал, даже не присел – просто стоял, закрыв голову руками и переживал, пока те, сменяя друг друга – тесно ж в углу, – бьют его ногами по ногам, норовя попасть в пах и в живот, и руками по рукам, но целясь по лицу.

Устав, они вышли из туалета, кинув напоследок:

– Ты все понял, да?

– Типа, да, – ответил Шорох.

Лыков и Грех жили близко. У Лыкова к тому же была «восьмерка» – подхватив Греха, он примчал через пятнадцать минут после звонка. А я через двадцать – и не успел.

Теперь податься нам оказалось некуда. Мы ж не из голден-майер фильма – нам положено было б зайти в утреннее кафе и выпить там кофе, – но на кофе денег никто не имел.

На улице, как собаки, переругивались и тянули друг у друга мусор местные сквозняки; в машине оказалось немногим теплей – Лыков экономил бензин на печке, счетчик у него вечно был почти на нуле.

Жил Лыков с родителями в скромной, будто картонной двушке. Родители были, что называется, приличные – мать в шубке, отец в шляпе, интеллигенция. Мы и на порог туда не являлись, однако женское лицо в окне второго этажа я неизменно замечал, когда мы заезжали к Лыкову. Еще я как-то опознал лыковскую мать в очереди за дешевой курицей, – она сразу отвернулась, но в глазах и губах ее я успел заметить невыносимую муку. Преподаватель речи в театральном училище, она не должна была стоять в очереди никогда.

Грех обитался с бабкой и дедом тоже в какой-то малогабаритке. Бабка цель жизни видела в неустанном движении из продуктового в продуктовый: пользуясь своим бесплатным проездом она закупала капусту посочнее в одном конце города, а масло на рубль десять дешевле в другом – и все это тащила на себе. Дед тем временем засыпал в туалете и на стук вернувшейся бабки не реагировал. Несмотря на постоянство этих ситуаций, бабка всякий раз была уверена, что дед умер, и принималась неистово голосить. Грех, если был дома, взламывал дверь, а потом прибывал в туалете то новую щеколду, то крючок. Весь косяк был в этих крючках и щеколдах.

Только семья Шороха проживала в трешке, но там помимо пропойных родителей – бывших кадровых заводчан с похеренного завода – находились также младшие сестра и братик Шороха, на пропитание которых он вечно спускал почти всю зарплату, пока ее выдавали, а сейчас лично скармливал деткам по банке консервов, хранимых под кроватью в ящике, закрытом от отца с матерью на замок.

Шорох – прозванный так за то, что двигался беззвучно и появлялся всегда неожиданно, – часто заставлял отца ковыряющимся ножницами в скважине и молча выдавал ему пинка. Отец вставал и, хватаясь пьяными руками за стену, убегал в сторону кухни.

Грех, как специалист по засовам, сделал и в комнате Шороха крючок – чтоб дети могли закрыться от пьяниц. Но папашка, пока не было Шороха, брал мальх на жалость – садился под дверь и слезно мычал, что хочет рассказать сказку. Они его впускали, сказка быстро кончалась, начинались поиски гречки с мясом и заначек в одежках Шороха.

Однажды папашка продал кому-то ремень, тельник и черный берет Шороха, за что Шорох еще раз сдал на черный берет – только уже на отца.

Свой черный берет был у каждого из нас. Мы ж люди государевы, слоняющиеся без большой заботы опричники – омонцы, нищелброды в камуфляжной форме.

...Сделав кружок по райончику, расстались до вечера – все равно всем в ночную смену на работу.

Чтоб сэкономить лыковский бензин, я сказал, что хочу прогуляться.

Путь шел мимо дома Гланьки. Я посмотрел на ее окна. В окнах кто-то включал и выключал ночник, как будто задумался о чем-то то ли совсем неразрешимым, то ли вовсе пустячным.

Мы вернулись в «Джоги» уже ночью, в красивом шелестящем камуфляже, разнаряженные, как американцы в Ираке.

Грех заскучал кататься по пустому городу, когда в клубах тепло и шумно и вокруг молодых людей, имеющих на кармане деньги, клубятся разнообразные девушки.

– Праздник сегодня, – пояснил он. – Поехали найдем какую-нибудь красавицу и поздравим ее. Все сразу, а потом по очереди.

Шорох ответил со слышной в темноте улыбкой:

– Не, я сегодня уже был в клубе, – и остался в салоне перетирать с Лыковым за машины, колеса и прочие трамблеры.

При появлении двух камуфляжных бродяг по ночной клубной публике прошел брезгливый озноб – на несколько секунд все застыли, ожидая облавы и обыска, кто-то поспешно скинул порошок под стол, кто-то юркнул в туалет... нам, впрочем, было все равно.

Я сразу ее увидел, – потому что, едва мы вошли, большая часть танцующих молча покинули танцзал, – а она осталась.

Играла песня про «Голубую луну» – мне в очередной раз показалось забавным, как наше прибалтненное, все на понтах и реальных понятиях юношество яростно зажигает под голубню.

Гланька была в черных брюках, в белой короткой рубашонке, на высоких каблуках, глазастая, с улыбкой, в которой так очевиден женский рот, язык, и эти, Боже ты мой, действительно влажные зубы.

Она не то чтоб танцевала, а просто не прекращала двигаться – немножко переступала на каблуках, четко, как маятник, покачивала головой, влево-вправо, влево-вправо, чуть заметно рука с тонким голым запястьем отбивала по воздуху ритм, потом плечиком вверх-вниз, шаг назад, шаг вперед и опять стоит напротив меня, как мина с часовым механизмом, которой не терпится взорваться.

Она что-то сказала мне, но сквозь «Голубую луну» ничего разобрать было нельзя.

Я кивнул, как будто расслышал, и все смотрел на нее, как рука отбивает ритм, как переступают каблуки и рот улыбается...

Она, наверное, немного издевалась над своими друзьями – Гланька давно дружила с натуральной, патентованной братвой.

«Вот смотрите, – говорил браткам весь ее вид, – смотрите, как балуюсь с ним, – а вы, хоть и ненавидите полицейскую сволочь, все равно к нам не подойдете и не заберете меня за столик от этого бродяги в камуфляже».

Ее, как мягкой волной, привлекло ко мне совсем близко, и, прикоснувшись своей щекой к моей щеке, она громко спросила меня:

– Ты что тут делаешь?

Волна уже пошла обратно, забирая ее, не прекращающую танца, и я успел сказать:

– На тебя смотрю.

Она тоже кивнула, словно услышала, хотя, кажется, не услышала – и еще немного станцевала для меня, а потом на танцполе так заметался свет, что она пропала – как будто ушла под воду.

Можно было бы пойти вслед, хотя бы по пояс забрести – но такие, как она, пираньи, не то чтоб рвут на волокна чресла наивным пловцам – это еще ладно, – они перекусывают какую-то непонятную жилу, без которой сразу не хочется жить, хотя некоторое время совсем не чувствуешь боли.

Я поспешил на улицу.

Грех тем временем пробрался в располагавшуюся над танцзалом кабину диджея и, завладев его микрофоном, объявил:

– Диджей имеет честь поздравить всех однополых товарищей, собравшихся в «Джоги» во имя женского праздника. В подарок мы предлагаем уважаемой братве трижды прослушать композицию «Голубая луна». Братва, не стреляйте друг в друга! Любите друг друга! Ласкайте друг друга! И к черту этих баб! Раз в году нормальный пацан имеет право побыть самим собой! Северный район приглашает буцевскую бригаду на танец!

Опять, но в два раза громче, безбожно хрипя, заиграла эта самая «Голубая луна». Кобла за столиками, услышав неожиданно и насмерть оборзевшего диджея, озирались по сторонам.

Я очень наглядно представил, как тот самый очкарик, которого мы видели с утра, пытается успеть удавиться до того, как за ним придут из зала.

– Красиво я придумал! – хохотнул Грех на улице, улыбаясь во все грешное лицо.

Серайон – это одна преступная бригада в нашем городе, а буцевская – другая.

С улицы я услышал, как после первого куплета «Голубая луна» оборвалась и зазвучала мрачная композиция про централ. Все равно будет тебе, диджей, медленная смерть, ничего ты уже не поправишь.

– Кто это с тобой там был? – лукаво спросил Грех, забравшись в патрульную машину. – Вся такая а-яй и о-ей? Я думал, сейчас ты бросишься вприсядку вокруг нее.

– Жена, – снова соврал я.

– Ага, – сказал Грех. Он, естественно, был в курсе, что у меня нет никакой жены.

По утрам, после смены, мы пили чай в раздевалке.

У Лыкова с собой всегда были бутерброды – сыр на колбасе, под колбасой сливочное масло, красота. К бутербродам прилагался завернутый в восемь слоев полотенцем, как младенец на морозе, душистый плов или, на худой конец, винегрет – тоже теплый. Мамуля заботилась. Лыков так ее и называл: «Мамуль, мамуль». Я все представлял себе, как он, собираясь по звонку Шороха, говорит: «Скоро приду, мамуль!», садится в «восьмерку», мчит куда-то, ломает минуты за две кому-нибудь челюсть и обратно приезжает: «Ну, как ты, мамуль?». При этом целует ее в макушку.

(Лыковский папка в это время разгадывает кроссворд на кухне. С папкой они не общались, слабо ощущая свое родство.)

Лыков быстро раскрыл запрятанную в махровое полотенце кастрюлю, где нежилось пюре с мясной подливкой, от вида которой у меня немного уплыла, но потом вернулась на берег голова, достал свои бутерброды, числом три, порезал каждый на равные части и скомандовал: «Утощайтесь!»

Мы-то открыли каждый по железной банке, нам удивить его было нечем. Но Лыков недолго думая вывалил чью-то тушенку в пюре, все время нашей смены стоявшее на батарее в раздевалке и не совсем остывшее.

Сверху присыпал сайрой – получилось обильно и аппетитно.

Грех, впрочем, остался несколько недоволен:

– Чай туда вылей еще, – посоветовал он.

Но сам же первый кинулся жрать.

Съели всё, даже умолкнув от удовольствия. Шорох протер тарелку хлебом так, что хоть брейся, глядя в нее.

– Типа, всё, – сказал Шорох и, приподняв тарелку, осмотрел ее со всех сторон.

Дома никогда так вкусно не поешь, как с товарищами полшестого утра в пропахшей берцами и мужскими тельниками раздевалке.

Добравшись в свою квартирку, я сразу лег спать – хорошо заснуть, когда ты пришел с ночи, пахнешь морозцем и молодым потом и лезешь с холодными ногами под толстое одеяло, уже засыпая, засыпая и даже не глазами слипаясь, – а всем телом – с дремой, теплом, полубредом.

Из полубреда, где все ближе наплывал невыносимый, пахнувший кипящей карамелью Гланькин рот, меня вырвал звонок. Показалось будто проволочным крючком подцепили мозг и резко потащили его наружу.

– Аллю, извини, это Аглая, – сказала трубка.

«Это тот же самый рот, что во сне! – подумал я ошарашенно, будто застигнутый врасплох. – ...Откуда она знает про то, что я искал ее рот?»

– Ты слышишь? – спросила она.

– Слышу, – наконец проснулся я.

Придвинул ногой валяющиеся на полу часы: е-мое, я заснул пятнадцать минут назад.

– Тебя вчера ночью диджей слил Буцу, – сказала Гляня. – В очках этот, знаешь... Знаешь?

– Да знаю, знаю, – ответил я.

И в очках знаю, и Буца знаю. Буц был местный криминал и авторитет, кажется, он вчера сидел в «Джоги», когда Гланька танцевала мне.

– Ну, ты помнишь – очкарик вчера учудил – поздравил пацанов с женским днем и хотел три раза поставить им «Голубую луну». Его за ухо притащили к Буцу, а он свалил все на тебя. Сказал, что это не он поздравлял, а то ли ты, то ли который был с тобой. И еще сказал, что ты вчера утром загасил в «Джоги» трех ребят из его бригады. Двое из них в больнице с переломами.

...как много информации для человека, проспавшего пятнадцать минут.

– Буц сказал: «На нож посадим мусорка». Это он про тебя, – сказала Гляня.

Голос у нее был такой, с каким идеальные небесные комсомолки должны были читать присягу о верности всем идеалам на земле: высокий, внятный, красиво подрагивающий, с грудной хрипотцой.

– Дурь какая, – сказал я, растирая лицо кулаком. – Кому он это сказал?

– Мне, кому, – раздраженно ответила Гланька.

– А ты что сказала?

– Сказала, что я тебя не знаю.

У Гланьки вдруг резко зашумела вода, как будто на полную врубили кран. Тут же раздался сильный и злой мужской голос:

– Аглай, чего так долго?

– Сейчас, Буц! – сказала она и отключилась.

Гланька училась на последнем курсе иняза, отлично говорила на английском и еще на каком-то басурманском. Отец ее был дипломатом – но он давно оставил семью, да и чего было делать дипломатам в нашем городе. Хотя, кто знает, – может, по отцовской протекции Гланьку всякий раз просили помочь в качестве переводчицы, когда в город заявлялись большие делегации.

Мы так и познакомились, когда три дня подряд водили нерусских гостей по нашим заводским цехам, и Гляня им переводила, а я их охранял.

Гляня была в компании с вечно затруднявшейся в поиске нужных слов бонной из мэрии – и та, несколько раз смерив молодую соперницу мутным взглядом, уступила ей место возле главы делегации, а сама добровольно ушла расписывать заводскую прелесть делегационному охвосту.

Охрана была нелишней – медленно звереющие и живущие исключительно продажей лома заводчане могли, например, забить гостей разводными ключами.

Гости вроде как собирались восстановить производство. Но нехитрое чутье почему-то уже подсказывало, что, откатив нашему градоначальнику и купив завод за копейку, они тут же его обанкротят. Видимо, чтоб не мешал другому такому же производству, уже работавшему на гостей где-нибудь в азиях.

Глава делегации, – высокий, в роскошном пальто и, невзирая на холодный октябрь, без шляпы, – всматривался в переводящий русскую речь Гланин рот чаще, чем в станки и трубы.

Тяжелое, как кирпичная кладка, косноязычие наших властных лобанов Гляня превращала в карамельный ручей, под который хотелось подставить лицо.

Глава делегации все чаще переспрашивал у нее что-то, Гляня спокойно отвечала. Я неизменно находился рядом и несколько раз подал Глане руку, когда она спускалась по неудобным железным лестницам в цехах.

Она даже не кивала в знак благодарности – но делала это так, словно мы были давно знакомы, и только оттого благодарность совсем не требовалась.

Градоначальник улыбался на каждое слово гостя, неустанно переводя любящие глаза с покупателя на переводчицу и обратно.

– О чем он? – спрашивал градоначальник, если Гланя не переводила какие-то беглые замечания покупателя.

Гланя покачивала головой в том смысле, что, мол, не важно, – и не удосуживала градоначальника ответом.

Глава делегации все чаще обращался к переводчице, Гланя каждый раз, отлично улыбаясь, отвечала, но один раз неожиданно повернулась ко мне и с без-упречным презрением негромко сообщила:

– Спрашивает, какого цвета белье на мне.

Гланя тут же отвернулась, и мы больше не разговаривали в тот день.

В другой раз все та же делегация проводила в честь приобретения завода пресс-конференцию, и Гланя сразу узнала меня, зашедшего проследить на этот раз за журналистами.

– Привет, солдат! – сказала она весело и, прикусив губу, несколько секунд смотрела на меня, будто бы раздумывая.

– Ладно, потом, – посоветовала сама себе и упорхнула на басовитый и чуть растерянный зов нашего градоначальника.

В конце пресс-конференции глава иностранной делегации вдруг заговорил по-русски.

– Спасибо? – сказал он, и все заулыбались с таким видом, словно только что у всех на глазах младенец сделал первый шаг. Тем более удивительным это было в стране, где каждый второй знал что такое «сеньк ю» и «фак ю», но не считал свое знание чем-то из ряда вон выходящим.

– Спасибо! – повторил глава делегации. – Этот завод есть... сила! Да! – тут он скосился на Гланю и добавил: – Энд ваша – кто переводит... пе-ре-вод-чи-ца!.. она имеет беж... беж...

Я подумал уже, сейчас гость скажет, что у нее бежевое белье, но он, наконец, закончил:

– Беж... упречный английский! Лучшее, чем мой! Это помогать работать!

Гланя и школу закончила с золотой медалью, тем больше было мое удивление, когда Шорох, живший неподалеку от Гланьки, однажды опознал ее на улице из окна патрульной машины:

– Смотри, какая, – я посмотрел и чуть было не похвастался, что хорошо знаю это карамельное чудо, но Шорох тут же добавил: – Ее старшеклассники с нашей школы несколько раз пускали по кругу в подвале. Не насиловали даже, а типа она сама...

Я поперхнулся и помолчал.

– Ничего не путаешь? – спросил наконец.

– Не-а, – беззаботно ответил он.

– Ты там тоже... что ли? – спросил я.

– Откуда? – огорченно отозвался он. – Она в старших классах училась, я шкет еще был.

– И что потом?

– Потом на нее в школе стали пальцем показывать, и она, типа, траванулась таблетками. Но – откачали, и месяца через два снова, гляжу, идет по коридору. Такая вся... бледная. У нее парень тогда появился – реальный пацанчик, такой, типа, злодей. Больше никто на нее пальцем не показывал – палец дороже. Ее, бля буду, даже уважали – и учителя с таким, типа, страхом смотрели, хоть и не приняли в комсомол... и для одноклассниц она казалась вроде как самая взрослая, когда все остальные еще малолетки... а пацанам – она вообще была легенда, на нее все приходили посмотреть, если она там, стихи читала на каком-нибудь празднике... Помню, ее фотку вывесили на доску почета – она на очередной олимпиаде всех уделала – и фотку сразу унесли вместе с доской...

Шорох посмеялся сам себе.

– Только не помню, как ее зовут. Имя такое, типа, холодное. Как водка «Алтай», только другое.

– Аглая, – сказал я.

– Точно, – сказал Шорох и даже не спросил, откуда я в курсе. Подумал, наверное, что догадался.

Все совпадало. Если Шорох был шкет, когда Гланя ходила в старшие классы, – значит, она на четыре года старше его. Потому что меня – на два. А я – на два Шороха, в прошлом году вернувшегося с армейки.

Гланька тем временем свернула в свой подъезд, а Шорох все смотрел на закрывшуюся дверь с мечтательным видом. Явно не о водке он размышлял.

В прошлом ноябре мы со скуки закатились на ипподром – хоть на голых лошадей посмотреть, раз девушки уже перешли на зимний режим.

Скачек здесь давно не проходило, но лошадей предлагали напрокат.

Некоторое время мы с трибун наблюдали за рысью и галопом. На трибунах сидело человек пятнадцать зевак помимо нас, и по кругу разъезжало семь, кажется, наездников или наездниц.

В одной из наездниц я узнал Гланю и пошел поздороваться.

– Не подходи к лошадям сзади, – посоветовал мне Грех, и они с Шорохом засмеялись, как малые дети.

Чтоб выпрыгнуть на дорожки, нужно было перелезть через заграждения. В камуфляже и при автомате мне показалось это делать не совсем уместным, поэтому я пошел по кругу вдоль трибун – и через две минуты оказался у крытых конюшен, откуда и выводили лошадей.

Толкнув незапертую дверь, шагнул вперед. Местный сторож увидел меня, но, оценив внешний вид, рацию и сталь воронену, ничего не сказал.

Гланя подъехала тут же – вся какая-то напуганная, но, заметив меня, радостно дрогнула глазами и быстро спрыгнула с коня; я проследил все ее стремительные движения.

– Привет, – почему-то шепотом сказала она. – Ты что тут делаешь?

– На тебя смотрю, – сказал я.

Она кивнула, пропустив ответ, и озадаченно оглянулась на трибуны.

– Пойдем, – позвала.

В конюшнях тяжело и мутно пахло, впрочем, совсем не противно. Стояла полутьма, редкие лампочки горели в полнакала.

– У вас патруль? – спросила Гланя, заводя свое большое и послушное животное в стойло.

– Да, – ответил я.

– Ты на машине? – еще раз спросила она, привязывая коня.

– На машине, – ответил я.

– Слушай, – сказала Гланя. – Ко мне там приехал мой парень, встречает меня. На трибунах сидит. И еще один мой парень приехал случайно... В общем, меня сразу три парня там ждут. Так совпало. Я не могу через главный выход... Они там все на разных скамейках, и ни один не знает, что он не один... Что-то нехорошее будет, если я выйду.

Я улыбнулся.

– Чего ты улыбаешься? – спросила она, сама улыбаясь.

Я не ответил.

– Тут есть запасная дверь, – сказала Гланя, – на площадку для разгрузки транспорта... С площадки дорога тоже ведет к главному выходу, но если подогнать машину... Понимаешь? Меня можно незаметно вывезти!

Я вызвал по рации Лыкова.

– Будь добренький, подрули к запасному выходу!

Пока я держал рацию у лица, Гланя внимательно слушала наш разговор.

Потом успокоенно кивнула и сказала:

– Только мне нужно переодеться. Это быстро.

Мы прошли еще одним коридором куда-то вправо, навстречу попался самый настоящий цыган, молодой, в красной рубахе, в бусах и серьга в ухе.

– Аглайка, – позвал он, как мне показалось, жалобно.

– Отстань... иди лошадь покорми, – сказала она ему и взяла меня за руку. Я запнулся о какой-то хомут и выругался.

– Осторожно, – повторила Гланя несколько раз, пока мы шли. – Тут осторожно... И тут... – потом толкнула дверь в раздевалку с шестью железными кабинками, и я сразу же взял ее за плечи и развернул к себе.

– Осторожно, – еще раз вздохнув, попросила она, и зубки ее щелкнули так, словно она раскусила последний карамельный орешек.

– Я осторожно, – сказал я.

С этим своим Буцем Гланька позвонила мне второй раз в жизни.

Первый звонок случился на следующий же день после танцпола, где я впервые увидел, как она отбивает ритм рукой.

Не помню о чем, мы проговорили по телефону часа полтора, перебивая друг друга, радостно спотыкаясь на длинных предложениях и не замолкая.

Казалось, счастье подступило так близко, что можно задохнуться. Еще сутки после разговора я чувствовал к телефону почти человеческую нежность, словно он тоже был – при чем.

Затем она три дня не звонила, на четвертый я не выдержал, собрался и, прикинув время начала ее занятий в инязе, – Гланька училась на вечернем, – поймал ее у подъезда.

Она спросила – речь ее была пряма и стройна, как таблица умножения, – не в патруле ли я.

– Я ж в гражданке, видишь, – сказал я, кивнув себе на джинсы.

– Действительно! – бросив на меня быстрый взгляд, ответила она тем же тоном, каким разговаривала с главой делегации.

И замолчала, так как переводить было некого и некому. Даже в позднеосеннем воздухе образовалась полная ясность.

Я попытался, еще не веря, поймать ее взгляд. С наспех нарисованной улыбкой она мазнула по мне глазами и тут же скосилась куда-то в сторону. Постукивая носком сапожка, закусила нижнюю губку.

– Беги, – сказал я, шмыгнув носом.

Она коротко кивнула, на ресницах вспыхнул первый снежок – так вспыхивает табак, когда затягиваешься сигаретой, – и действительно почти побежала к автобусной остановке, что была ровно напротив ее подъезда.

Теперь я сидел с трубкой в руке и слушал гудки. Спать хотелось ужасно, да и что еще оставалось делать.

Во второй раз за утро я накрепко заснул, но ощущения были странные: дышать было холодно, как будто я спал с открытой форточкой, зато тело парилось и медленно тлело где-то в области живота.

Иногда во время пробуждения приходит нестерпимое понимание чего-то, какой-то очередной нелепости сущего.

На этот раз, выныривая из сна, с холодным ртом и горячим животом, я вдруг с кошмарным, бешеным, обнаженным удивлением осознал, как глупо то, что происходит между мужчиной и женщиной. Это же несусветная блажь! Раздеваются оба и изо всех сил трутся друг о

друга самыми неподходящими для этого, маркими, постоянно отсыревшими местами. И стараются делать это как можно чаще, пока не истираются в хлам. А зачем? Зачем все это?

...Боже мой, что ж ты с нами наделал-то...

Некоторое время, разминая до лохматых искр глаза, я еще жил с этим пониманием, а потом оно медленно истаяло, испарилось, совсем ничего не осталось от него в голове.

«Позвонить пацанам или нет?» – все решал я, наворачивая круги по квартире. Съел яишенку из одного яйца и носил с собой из кухни до кровати и назад большую кружку чаю.

Решил, что лучше поехать, рассказать – чего по телефону-то. Тем более... наверняка, это все пьяный базар. На нож посадит мусорка, конечно. Так мы и поверили.

Позвонили в итоге мне, пока я возился с носками и, поднимая перед собой, разглядывал их на свет, как фальшивые деньги.

– Аглая у тебя? – спросил мужской голос.

– Чего? – не понял я.

– Аглая у тебя?

– А ты кто? – спросил я, хотя сам уже, кажется, понял.

– Она звонила тебе сегодня утром, пес, – не отреагировали на мой вопрос с другой стороны провода.

– Сам ты пес, – сказал я. – Иди в зеркало на себя посмотри.

– Помолись, – дали мне совет на прощание.

Не знаю, как он, а я как раз прошел к зеркалу и посмотрел на себя: нервничаю я или нет. На меня смотрело лицо с глазами, ничего не отражалось в моем отражении.

Набрал Шороха – там никто не брал, но у них в семье вечно какая-то ерунда с телефоном. Набрал Лыкова – тоже никого. А у Греха и телефона не было.

Но не дома ж сидеть.

Против обыкновения не помыв посуду, а так и сбросив сковороду, ложку и кружку с недопитым чаем в раковину, я поспешил на улицу, искать своих пацанчиков.

Повисел пятнадцать минут на поручне в троллейбусе, полюбовался облезлыми домами, и вот уже остановка, где живет Шорох.

Я всегда тут выхожу, хотя с тем же успехом мог бы доехать, скажем, до Лыкова.

Но лыковский дом двумя остановками дальше.

А Шорох живет рядом с Гланькой. Может, я выйду из троллейбуса, и она гуляет себе, подумал я.

Ни разу ее не встречал в городе, а все надеюсь иногда.

К дому ее, впрочем, я все равно не подхожу – очень гордый. Вдруг она увидит меня в окно, подумает: о, гляньте на него, ходит кругами, облизывается...

Нет, я такого не могу себе позволить.

– Э! Э! Э! – позвал меня настырный мужской голос.

Меня выцепили у дороги трое в джинсах и легких куртках.

Тот, кто подошел первым, не имел переднего зуба.

– Слышь, служивый, Буц хочет с тобой поговорить, – сказал он.

Мне показалось, что мое сердце на две секунды встало.

Потом сам собою у меня открылся рот, и я совсем не своим, очень спокойным голосом произнес:

– А я-то не хочу.

Не зарежут же они меня посреди бела дня.

Один из трех меня прихватил за руку, но я сразу вырвал рукав, цыкнув:

– Ну-ка, ты, бля!..

Я сделал шаг к дороге с одной мыслью: надо срочно тормознуть тачку и свалить – ну, не бегать же мне от них бегом по улице.

В пяти метрах от меня стояла тонированная иномарка – но заглушенная, с выключенными габаритами... едва я сделал случайный шаг мимо нее, салон ожил, фары вспыхнули, заднее правое стекло опустилось и появилось лицо Буца.

– Че ты как маленький? – спросил он, улыбаясь. – Сядь в машину-то на минутку... Сядь, сядь. Хотели бы тебя пришить – пришили бы уже.

Он открыл дверь и подвинулся в глубь салона.

«Сядешь в салон – будешь дурак, – подумал я. – Не сядешь – подумают, что трус, посмеются».

Естественно, сел.

– Отъедь, – сказал Буц водителю. – Чего мы на дороге...

Рядом с водителем сидел еще один, лица его я, естественно, не видел, только затылок, плечо, небритую шею.

«Ну, все», – подумал я, вдохнув и выдохнув через нос.

...хотя дверь была рядом – можно выпрыгнуть. Выпрыгнуть? Или покататься еще?

Я покрутил головой, за нами пристроилась вишневая «девятка», куда уселись эти трое, тормознувшие меня. Эта «девятка» – она ж стояла возле моего дома, когда я выходил! Я там все машины знаю, поэтому обратил внимание...

Иномарка проехала сто метров и встала возле Гланькиного дома.

– Был тут? – спросил Буц.

– Где, в «Универсаме»? – спросил я, улыбаясь.

Гланькин дом соседствовал с магазином.

Улыбка у меня получилась совсем натуральная.

Буц облизнул губы и замолчал, скучно и устало глядя куда-то в окно.

Я тоже с удовольствием помолчал. Когда говорил – все опасался как бы зубы не лязгнули или голос не сорвался.

– Не у тебя Аглая? – спросил он еще раз.

Я цыкнул воздухом между передних зубов и скривил еще одну усмешку в ответ. Сказать «не у меня» – похоже на оправдание. Сказать «у меня» – зачем? чего нарываться-то?

– Я так и знал, что не у тебя, – подумал вслух Буц. – Хули ей с мусорком делать... Если только в совок собрать, – здесь Буц захихикал, довольный своей шуткой, и на бритом затылке водителя обнаружилась довольная жировая морщина: улыбался он, запрокидывая башку, всем небритым своим лицом – но получалось, что и затылком тоже.

– Тебе чего надо-то? – спросил я Буца. – Покатать меня решил?

– Чего ты, девочка, тебя катать? – спросил он.

«Два – ноль в его пользу», – подумал я и тут же, как будто это он у меня в машине, а не я у него, на два тона выше, раздельно произнес каждое слово, поинтересовался:

– Хули ты борзеешь?

Стало тихо, как будто кто-то выключил внутри салона звук. Снаружи ходят люди, шелесят троллейбусы, хлопают подъездные двери – а тут глубоководный покой. Того и гляди редкая узкая рыба беззвучно проплывет у лица.

Сидевший на переднем сиденье начал медленно, с ужасным скрипом кожаных сидений, поворачиваться в мою сторону, и я, наконец, увидел его скулу, нос и один побелевший от бешенства глаз...

– А вот скажи, – поинтересовался Буц, и тон у него был такой, что сидевший впереди сначала застыл на секунду, а потом вернулся в исходное положение, – ...отчего вы в форме такие страшные... а без формы – я тебя даже разглядеть не могу?

Ответ мне придумывать не пришлось, потому что к машине спешно подошел какой-то тип. Сидевший впереди сразу выскочил на улицу, уступив этому типу место.

– Здравствуй, Буц, – сказал тип, усевшись. Голос типа звучал, словно он набил рот газетой, прожевал ее, но не выплюнул и не проглотил, а так и сидел с этим мерзотным и кислым жевком у щеки.

Тип обернулся к нам. Губы его были отвратительны и огромны.

«Может, капот случайно упал на лицо», – пошутил я сам для себя.

Кто это так ему зарядил, интересно. Лыков, поди.

– Посмотри на мальчика, – сказал Буц.

Тип посмотрел на меня. Глаз у него тоже почти не наблюдалось – то ли и тут Лыков постарался, то ли от рождения такая беда, – ковырнули раз под бычьей бровкой гвоздиком, ковырнули под другой, и ходи, парень. Главное, не шурься, а то упадешь в темноте.

– Этого не было, – сказал тип, широко раскрывая губы: «Этаа не ыло!»

– Очкарик сказал, что он вас один уделал, – сказал Буц.

– Я уже говорил, что очкарик гонит, – промычал тип: «...а уже аарил шта ачарык онит!» Было заметно, что он хочет повысить голос и возмутиться – но раздавленные губы не позволяли.

Тип, скривившись, отвернулся. Похоже, у него и шея очень болела.

– Ну что, – сказал мне Буц. – Иди тогда, работай дальше, лови своих пьяниц... повезло тебе. Не зря я тебе утром велел помолиться. Бог – он и правда помогает. Даже таким, как ты.

Я не без удовольствия открыл дверь и вылез на белый свет.

Тот, что уступил переднее сиденье типу с разбитыми губами, задумчиво курил, стоя у меня на пути.

Он был среднего роста, худощав, но, сразу видно, ловкий, хлесткий, быстрый. Несколько секунд смотрел мне в глаза с чуть заметной ухмылкой. Потом затянулся и выдул мне в лицо дым, некрасиво скривив губы.

Я шагнул в сторону и сказал:

– Попадешься мне – я тебе болт в лоб вкручу.

– Ну вот – попался, – ответил он, раскрыв руки.

– Болт в гараже, – ответил я. – Прихвачу – вкручу. Подожди денек.

Он засмеялся и стрельнул мне вслед бычком, попал куда-то в локоть, я сделал вид, что не заметил.

Братик и сестренка Шороха безмолвно рисовали карандашами, сидя на полу. Чистой бумаги у них не было, поэтому они пристраивали свои каляки-маляки по краям газетного листа.

Сам Шорох примостился на подоконнике. Грех стоял у дверей, проверяя, как работает новая щеколда. Лыков лежал на полу, с интересом разглядывая детские картинки. Потом взял красные и синие карандаши и разрисовал большое опухшее лицо первого президента.

– Сегодня застроим эту коблу, – резюмировал Лыков мой рассказ, выводя кровавый синяк.

Я только избежал упоминания о Гланьке. И про сигаретный бычок не упомянул: почему-то не хотелось. На локте образовалась маленькая дырочка – я все время, выгнув руку, поглядывал на нее, и на душе моей было гадко.

Так и носил эту гадость внутри до самого вечера.

Вечером мы загрузились в лыковскую «восьмерку» и, купив по дороге в ларьке одну пачку сигарет на четверых, подлетели к «Джоги».

– Есть их тачки, на которых тебя катали, глянь? – попросил меня Грех.

– Может, Буц на другой приедет, у него ж не одна, поди, – засомневался я, озираясь.

– Я знаю, на чем он ездит, – сказал Шорох. – На одной и той же. И номер знаю. Тачка иногда уезжает, пока он в кабаке сидит, – и потом возвращается за ним. Пойду гляну – может, он уже в клубе.

На стоянку к «Джоги» стремительно и бесшумно, как водомерки, подъезжали все новые сияющие иномарки. Наша белая утлая лодчонка смотрелась тут скромновато.

Мы были по гражданке – собственно, вопрос идти в форме или нет, даже не обсуждался. Если ты в форме – на тебя никто руку не поднимет, это ясно. Ну и что за разборки тогда?

Выйдя из «Джоги», Шорох развел руками: нету Буца, мол. Но тут же мимо клуба стремительно прокатилась буцевская холеная красавица. И я ее узнал – и Шорох тоже, опустив руки, с улыбкой проследил путь авто до того места на стоянке, которое странным образом никто не занимал.

Вышел Буц, с ним двое его ребят, одного я узнал – это его бычок попортил мою единственную весеннюю курточку, красивую, как у Буратино.

Гланьки не было – почему-то ее появления я пугался больше всего.

Мы разобрали еще по сигаретке из пачки и закурили.

Я все время трогал пальцем правой руки дырку на локте – это поддерживало мою злобу в ровном кипении.

– В клубе будем разговаривать? – спросил Грех, жуя бычок.

– Не, в клубе разнимут сразу, – ответил Лыков спокойно, как будто не про себя говорил – это ж его будут разнимать, – а про кого-то третьего.

– Надо его выманить как-то, – сказал Грех, вынув бычок и осмотрев покусанный-перекусанный фильтр.

Буцевская машина, постояв у клуба три минуты, вздрогнула и, ловко вырулив со своего места, отбыла.

– А вот так и выманим, – сказал Лыков, что-то придумав.

Он завел «восьмерку», и через минуту мы стояли на буцевском месте.

Кутившие на ступенях клуба малолетки начали пихать друг друга и кивать в нашу сторону: гляньте на полудурков. Кто-то из них сразу поспешил в клуб.

– Стуканут сейчас, – посмеялся Лыков. – А я уж думал, до утра придется ждать, пока Буц домой не захочет...

Действительно, через три минуты появился тот самый, которому был обещан болт во лбу. Он поздоровался кое с кем из малолеток на ступеньках – всякий из них с очевидной гордостью вытягивал свою белую ладонь... кто-то в толпе малолеток заметно дрогнул плечом, шевельнул кистью, тоже желая поздороваться, но рукопожатием удостоили не всех.

Буцевский спустился к нашей «восьмерке». Я, сидевший сзади в правом углу, вжался в кресло, чтоб меня не запасли раньше времени.

Лыков натянул капюшон на башку – была вероятность, что и его признают, – мы светились несколько раз, устраивая по мановению начальства в клубах облавы. Впрочем, в последнее время ни облав, ни зачисток по воровским хатам отчего-то не проводилось вовсе.

Буцевский, не нагибаясь, стукнул в стекло печаткой на пальце. Печатка изображала птичью голову с загнутым клювом.

Лыков приоткрыл окошко.

– Уберись отсюда, это наше место, – сказали Лыкову.

– Понял, сделаем, – ответил Лыков таким тенором, которого я сроду от него не слышал.

Буцевский легко вбежал по ступенькам и пропал в клубе.

– Лыков, ты что, официантом работал? – заржал Грех. – Где ты так наблатыкался шестерить? «Понял, сделаем!» Ты со мной тоже так все время разговаривай. Ну-ка, сбегай за сигаретами!.. Лыков! Не слышу?

Все посмеялись, и Лыков тоже.

Пока буцевский шел в сторону клуба, Лыков завел «восьмерку», но спустя тридцать секунд выключил мотор.

Мы еще покурили.

Малолетки на ступеньках уже в открытую разглядывали нас.

– Пойдем их разложим по ступеням, – предложил Грех, понемногу раздражаясь. – Чего они уставились?

– Остынь, – сказал Лыков. – Позже.

– Че смотрим? Глаза выросли? – резко жестикулируя, бесился Грех на переднем сиденье, но стоявшие на ступенях не слышали его.

Тем временем вернулась машина Буца. Встав неподалеку, иномарка нам трижды коротко и сдержанно посигналила.

– Пойдем, – сказал Лыков, открывая дверь.

Выбравшись на воздух, мы спешно прошли вдоль ступеней клуба, в сторону полутемного пустыря с левой стороны здания.

На пустыре, видные в свете фонаря, рыжий кот и темная кошка делали кошачью любовь.

Кошка урчала, кот был сосредоточен, как гвоздь. Кошка посмотрела на нас, кот даже не отвлекся.

Грех хотел их разлучить ударом ботинка, но Шорох заступился:

– Не надо, слушай, – попросил он. – Им же, типа, хорошо, – и беззвучно присел рядом на корточки.

Лыков стоял на углу и смотрел, что там на стоянке.

– Что там на стоянке? – спросил я, тоже косясь на кошек.

– Машину мою пинают, ждут, когда заверещит, – посмеялся Лыков: сигналки у него не было.

– А сейчас? – спросил я, спустя минуту.

– А сейчас они пришли, – ответил Лыков с улыбкой.

Он посторонился и пропустил на пустырек водилу, умевшего улыбаться затылком, все того же буцевского пацанчика, которого я видел сегодня уже в третий раз, и его напарника.

– Чья там машина? – спросил, щурясь в полутьме, тот, кому я был должен за бычок. – Твоя? – угадал он Лыкова и резко взял его за шиворот.

Лыков тут же зарядил ему, я даже не заметил, какой рукой снизу. Сначала буцевский пацанчик не падал, и я только спустя секунду догадался почему: он держался за воротник. Лыков тихо разжал его пальцы, и только тогда буцевский безмолвно опал наземь.

Тем временем Грех далеким броском замечательно длинной руки выбил искру из надбровья водилы. Охнувший водила, клюнув раненой головой, попытался, явно ничего уже не соображая, идти в отмах, но Грех натурально скосил его таким же длинным и размашистым ударом ноги.

Все это случилось так быстро, что когда третий собрался драться – он сам уже понял, как неудачно остался один с четверыми наедине.

Встав в боевую стойку, третий никак не мог выбрать, кого ему первым делом победить – Лыкова или Греха – я стоял чуть дальше, а Шорох как сидел возле кошек, так и сидел.

– Да ладно, хорош, – сказал ему Шорох, даже не поднимаясь, и только чуть задрал голову. – Постой спокойно, сейчас Буц придет – разрулит незадачу.

Третий послушался и опустил руки, но дышал при этом так, словно только вынырнул из-под воды.

– Лучше даже сядь, а то фонарь загораживаешь, – попросил его Шорох.

Кошки у ног Шороха прекратили делать любовь, но не расстались, а просто недвижимо пристыли, выжидая.

– Вы с Северного района? – спросил третий буцевский, оглядывая нас. – Вы в курсе, что вы мир нарушили, парни? У Севрайона с Буцем мир, вы же знаете.

– Сядь, говорю, – попросил его Шорох еще раз, уже с неприязнью.

Тот, подождав секунду, сел спиной к стене.

Грех тут же, вроде как по делу проходя мимо, резко и с огромным замахом зарядил ему тяжелым ботинком прямо в зубы. Раздался отвратительный хруст – будто обломили подсохший, но крепкий сук.

– За своих надо заступаться! – посоветовал ему Грех, наклонив над упавшим свое туловище, доведенное, кстати говоря, железом и турником до некоторого уже, на мой вкус, безобразия.

Упавший делал резкие движения всем телом – так изгибается только что отвалившийся хвост у ящерицы. Поначалу парень явно был не в силах пожаловаться на свое самочувствие, но потом вдруг тошным голосом взвыл.

Даже представить было трудно, что у него там творилась с зубами и какой вкус плескался на языке.

Я вспомнил того утреннего, забывшего половину согласных, что пытался опознать меня в буцевской машине, – и пришел к выводу, что его губ тоже коснулся Грех.

От воя раненого в рот влюбленные кошары наконец разлучились и сорвались каждая в свою сторону.

Шорох огорченно вздохнул.

Грех присел возле водилы и, порывшись, извлек у него из кармана большой и неопрятный, как грязный лапоть, мобильный.

– Как ты хозяина зовешь? – спросил он, тыкая в кнопки, но обращаясь, впрочем, больше в никуда, чем к водителю. – Может, так и зовешь – Буц? Или Шеф? Или Папа?.. Ой, ты смотри, да тут всего четыре абонента: мама, Аня, Глобус и Буц. С тобой что, больше никто не дружит? Только мама и глобус? А что с глобусом вы что делаете? Путешествуете?

Водитель приоткрыл на мгновение лицо, длинная рука Греха тут же прилетела ему в лоб.

– Падкие на доброе слово, как бляди, – пояснил Грех, вставая. – Только скажешь что-нибудь нежное – сразу норовят посмотреть, кто там.

Грех подошел к фонарю и в его свете, наконец, разобрался, куда надо нажать на черном лапте. Бережно приблизил его к уху и тут же дурацким каким-то голосом захрипел:

– Буц, это, выйди на улицу... Да, на улицу, за угол – мы тут поймали трех каких-то кабанов, надо разрулить.

И отключил трубку.

Мы переглянулись.

– Он понял, наверное, что, типа, голос другой, – засомневался Шорох.

– Не, – ответил Грех. – Там музыка орет, не слышно ни хера.

Лыков взял у Греха посмотреть телефон – тогда мобильные еще были редкостью и водились лишь у обеспеченных людей либо у их шестерок. Вдвоем, по очереди, Лыков и Грех вертели мобилу в руках, пробовали на вес и принимались.

За этим занятием нас Буц и застал.

Лыков, не глядя, уронил телефон куда-то в лужу и подошел к нему.

– Откуда? – непонятно спросил нас Буц, осмотревшись и, кажется, все сразу поняв.

– Твоих пацанов приложили мы, – сказал Лыков. – И этих вот, и тех, что вчера утром. Ты, говорят, обещал посадить нас на ножи. Сажай тогда.

– У тебя ксива в кармане и патруль за углом, – ответил Буц, ухмыльнувшись.

– У тебя тоже, говорят, есть целая бригада ублюдков, – ответил Лыков. – Но сейчас мы тут с тобой, и у меня нет ни ксивы, ни патруля, и твоя бригада тоже спит. Так что никто нам не мешает. Вот я стою, простой человек – и ты можешь ударить меня. Ударь.

Буца долго уговаривать не пришлось – он резко сработал левой снизу, я даже не знаю, как Лыков успел отпрыгнуть, – но вражеская рука прошла вскользь его виска.

Дрались они недолго – все-таки Лыков был самым сильным из нас и вообще знал, о чем просил, когда сказал: «Ударь».

Однако тем, что Буц оказался на земле, Лыков не успокоился. Приседая на колени, он хлестко бил упавшего и пытающегося встать Буца то в грудь, то в голову, то в ребра, то в голову, то в ребра, то в живот.

Мы так засмотрелись на это, что не заметили, как поднялся водила и прыгнул Греху на плечи. Пока стаскивали водителя, поднялся и тот, кому я обещал вернуть болт.

Но он-то уже был раненый, а мы совсем нет, поэтому спустя минуту я уже сидел у него на груди и орал:

– Ввернуть болт, сука? Я тебе обещал болт? Ввернуть?

Тот жмурился и пытался увильнуть лицом, когда я сгребал его щеки, глаза и нос в щепоть.

Потом мы еще немного попинали Буца, а Грех произнес для всех оставшихся речь, что они никто, а новое имя их – пыль и гнилье, но я до конца не дослушал и ушел.

Когда уже расселись в своей «восьмерке», Грех, тяжело дыша, поинтересовался у меня:

– Слушай, а чего ты за болт обещал этому типу, я не понял?

Я смолчал, ухмыляясь и отплевываясь в окно.

– Не, братки, вы слышали? – переживал Грех, – «Болт, – кричит, – верну! Давай, – кричит, – болт верну!» Какой болт, что за беда... Что за болт-то?

Пацаны начали посмеиваться, пока еще негромко.

– Вы вообще меня пугаете, товарищи мои, – сказал Грех, прикурив, – Лыков разговаривает как официант, этот с болтами своими...

Мы отъехали со стоянки и начали хохотать. Хохотали так, что Лыков остановил машину, выполз из нее и смеялся, упираясь обеими руками в капот.

– Что делаешь? – спросила Гланька в телефонной трубке.

Голос у нее был такой, словно она простыла и умеет только шепотом.

– Ничего, – ответил я, трепыхнувшись.

Поискав глазами, где моя одежда – на всякий случай надо быть готовым к самым разным обстоятельствам, – и заметив брюки с рубашкой на кресле, а ботинки у дверей, я спросил:

– А ты?

Гланька не ответила, хотя было понятно, что она слышит меня.

– Хочешь, я приеду? – спросил я.

– Приезжай, – сказала.

Из подъезда я выходил с некоторыми мерами предосторожности – но больше для вида, забавляя самого себя, даже дурачась.

«Вот так и приходиться погибель дуракам, – пытался себя напугать. – Им кажется, что все в шутку вокруг, а тут сбегает сверху по лестнице дебил с пистолетом, бах в башку, бах, бах. Один глаз в одну сторону, другой выплеснули на ступеньку как сырое яйцо, челюсть наискось, кровь на целую лестничную площадку разлилась, хер ототрешь...»

Все это себе представил и с замечательной искренностью подумал: «...А я-то при чем тут?»

На улице незнакомых машин не было.

Троллейбус тоже не оказался подозрительным. Так разнежился в его тепле, что чуть не проехал остановку.

У Гланьки был седьмой этаж.

Я и в ее подъезде чувствовал себя совершенно спокойно. Еще раз предпринял попытку себя припугнуть: может, это замануха? может, ее Буц подговорил позвонить? – но сразу же вспомнил, что Гланька в гости меня не звала – я сам напросился.

Да и голос у нее был такой... Я же слышал, что за голос у нее был. Никакая это не подстава.

Она открыла дверь. Еле-еле покрашенная, будто невыспавшаяся, волосы собраны на затылке и перевязаны обычной резинкой – я заметил это, когда Гланька, едва кивнув, сразу развернулась и прошла на кухню.

Она была босиком – верней сказать, в колготках. И в стареньких разлохматившихся джинсах. Маечка на ней тоже была поношенная, великоватая, словно с чужого плеча – ничего под ней не разглядишь.

Я с удовольствием побродил бы по квартире – посмотрел бы, где она спит, под каким одеялком, на какой подушке, что за книги стоят в Гланькином шкафу, чья фотография висит над кроватью, бардак на столике ее или нет.

Но она сидела на кухне, с большой, желтой, будто неумытой чашкой, видимо, остывшего чая, и в этот чай смотрела.

Лицо у нее было такое, словно Гланька недавно и очень долго играла в песочнице или, скажем, чистила картошку – и часто смахивала прядь кистью руки, от чего на лбу и щеках остались еле видные подсохшие разводы.

Сама квартира тоже была темная, нигде не горел свет. Полы Гланька явно мыть не любила. На вешалках виднелось очень много разнообразной, спутавшейся, старой одежды, будто в доме когда-то принимали гостей – но все пришедшие странным образом растворились и сгнули – а вещи их так и остались висеть, никому не нужные, никем не надеваемые.

Обувь на полу лежала вповалку, зимняя вместе с летней, калоши, туфли, тапки, башмаки – и все потерявшие пары. Смотреть на это было грустно.

Я свои ботинки поставил отдельно, поближе к Гланькиным сапожкам, тоже находившимся поодаль от всей остальной обуви, и немного полюбовался на то, как моя и ее обувь смотрятся вместе.

После еще чуть постоял в коридоре, прислушиваясь.

«Забавно будет, если сейчас выйдет из спальни Буц в трусах», – подумал.

Но в квартире, похоже, никого не было.

«Интересно, она к нему ездит или он тут зависает?» – попытался я понять.

– Заходи, – сказала Гланька усталым голосом. Ей, кажется, не нравилось, что я там озираюсь.

Кухня была освещена большим и прямым светом из окна, смутно-белым и противным, как старая простыня. Я с трудом сдержался, чтоб не задернуть шторы, а потом включить электричество.

Поднял глаза на лампочку – нет, и лампочка была такая, что лучше ее не включать, – даже по виду квелая и липкая, как обсосанный леденец. Включишь ее – и она с треском лопнет над самой головой.

– Чего ты? – спросила Гланька, не поднимая глаза от чайной чашки, будто я там отражался со всеми своими сомнениями.

Она сидела в углу кухни, спиной к окошку.

– Как дела? – ответил я вопросом на вопрос.

Она в ответ чуть дрогнула щекою, это означало: какие еще дела, нет никаких дел.

– Хочешь чаю? – спросила в свою очередь.

– Что-нибудь случилось? – спросил и я, глядя на чайник, переживший, судя по виду, смертельные пытки огнем и водой.

На кухне помимо табуретки, на которой расположилась Гланька, стояло почему-то еще кресло. Едва я уселся в него, Гланя тут же, с неожиданной для ее осыпавшегося самочувствия ловкостью, перепрыгнула на подоконник. Мне даже показалось, что ей было неприятно сидеть рядом со мной, но она тут же положила ножку на спинку моего кресла.

Я подумал, что это со смыслом, поэтому повернулся к Глане и погладил ее лодыжку левой рукой. Но она сразу убрала ногу.

Что ж поделать. Ничего не поделать.

Гланя молча протянула ладонь – и одну секунду думал, что для поцелуя, но потом догадался: она показывала на чашку с чаем. Хорошо, что не поцеловал.

Подал ей чашку – чай и правда был едва теплый.

На стене висела черно-белая фотография, изображающая танцующую девочку в русском наряде.

– Ты? – кивнул я на фото.

Гланя скосилась на свое изображение:

– Да. Десять лет в танцевальной школе. Потом травма, три месяца в больнице... Отец мне сказал тогда: дочка, танцы – это всерьез, это – работа, подумай.

Гланька сжимала руками чашку так, словно о нее можно было согреться. Даже со стороны было заметно, что кисти у нее холодные, почти ледяные – с серым оттенком кожи, с голубыми прожилками...

Я поспешно отогнал от себя мысль о том, что ж такого особенного делает этими руками Гланька, чтоб так их измучить...

– ...после разговора с отцом, – сказала Гланя шепотом, – я подумала – и оставила все это.

Мы некоторое время молчали.

В ее словах была какая-то не совсем понятная мне, показавшаяся нарочитой мука. Ну, танцы, ну, не смогла танцевать – зачем это все? Лучше бы опять ножку положила мне на спинку кресла.

– Отец ведь тоже был танцором... Потом ему это очень помогло по дипломатической линии, – еле слышно улыбнулась Гланька.

Впрочем, и об отце она говорила так, словно он давно умер.

Отцовская фотография висела на стене рядом с Гланькиной, вдруг догадался я. На фотографии был изображен чернявый молодой тип, одетый то ли в молдаванский, то ли в румынский костюм – не очень знаю, чем они отличаются. Этот молдавский румын тоже танцевал, на лице его была чудесная улыбка, я с детства ненавижу таких улыбчивых парней.

От Гланькиной квартиры исходило твердое ощущение, что постоянный мужик тут сто лет не живет, а те, кто заходят, – не остаются надолго. Об этом вопило все, что я видел: вешалки, линолеум, батареи, шкафы, краны. И то, что какие-то очень отдельные вещи были починены, а какие-то развинчены вдрызг, – лишь подтверждало мои наблюдения.

Я порыскал глазами в поисках изящных безделиц, которые отец из своих дипломатических путешествий мог бы присылать дочери, – но ничего такого не было. То ли карьера его пошла на спад, то ли он не славился щедростью к своей печальной, забывшей танцы девочке.

Хотя черт бы с этим отцом, откуда мне знать, зачем Гланька про него заговорила.

Но она, замолчав об отце, никаких иных тем вовсе не захотела обсуждать.

Мы странно разговаривали еще, быть может, час, а может, и два – не произнося и двух слов кряду.

Ставили чай – и даже разливали его, – но никто не пил, и чумазые кружки, числом три, полные, остывали на столе.

Долго, мешая друг другу, открывали балконную дверь, собираясь покурить, но, открыв, выяснили, что сигарет нет ни у нее, ни у меня. (На балконе было холодней, чем на улице, и ужасный бардак.)

Я просил дать посмотреть альбом с фотографиями – мне страшно хотелось увидеть, какой Гланька была в школе, – но она наотрез отказывалась и, когда я просил, морщилась с таким видом, словно я перетягивал ей ледяной палец тонкой ниткой.

В конце концов, я сам уже расхотел смотреть альбомы, курить, пить чай, гладить по недоступной лодыжке, заглядывать в ее черные глаза, улыбаться болезненной улыбкой, устал, устал, устал – и даже не вспомню в итоге, как исчез из ее дома.

Наверное, тем же способом, что и все остальные Гланькины гости, чья одежда чернела на вешалках, – без поцелуя в прихожей, незримо, неслышно и невозвратно.

Хотя, возможно, там, среди вороха чужих одежд, до сих пор висит моя куртка с прожженным локтем.

Отработав дневную смену и переодевшись в гражданку, в ночь мы вернулись к «Джоги» – проверить, как там дела: ждут нас или не очень.

Въехали на то место, где парковался Буц, как на свое. Похохатывая, пошли в клуб.

На выходе попался диджей в очках – и напугался так, словно мы пришли за ним. Он встал, вытянувшись во фронт, но его никто из пацанов даже не узнал. Все прошли мимо, я двигался последним и поправил указательным пальцем очки у него на переносице.

Ненавижу себя за такие жесты. Если б это сделал Грех – было бы все в порядке, но я...

Пацаны тем временем поймали какого-то малолетку, что в прошлый раз здоровался с буцевскими, и Грех вывел его за ухо на улицу. Тот даже не сопротивлялся, шел с таким видом, будто это обычное дело.

Навстречу мне опять попался диджей, увидев нас, снял очки и тут же близоруко сшиб чей-то стул.

– Где Буц? – спросил Лыков малолетку на ступенях.

Малолетка чуть двинул головой, намекая, что пока его держат за ухо – ему говорить неудобно.

Грех разжал пальцы.

– Я не видел, – ответил малолетка, тут же скрыв ухо ладонью.

Грех опять сделал движение, чтобы прихватить его за другое ухо, малолетка даже присел:

– Бля буду, не было Буца, – запричитал он. – И команда его не приезжала! Я спросил у одного, придут они сегодня – он ничего не сказал...

– Зассали, что ли они? – спросил Лыков удивленно.

– Не знаю, – сказал, встав в полный рост малолетка, впрочем, ухо не открывая. – Вообще, похоже на то.

Лыков не смог скрыть радости.

– Ты смотри, что творится, – сказал, открывая машину и нагибая правое кресло. – Бояться!

Мы с Шорохом опять вползли вглубь салона. Грех вернул переднее сиденье в прежнее положение и уселся последним.

– А ты сам не боишься? – ехидно поинтересовался Грех у Лыкова, захлопнув дверь.

Лыков повернул свою ухмыляющуюся татарскую рожу – всем своим видом вопрошая: чего бояться?

– Замочат тебя в подъезде: мамка огорчится твоя, – сказал Грех все с той же ехидцей.

– Дурак, что ли, – засмеялся Лыков. Смех у него был такой, словно на него накатила бешеная икота, и он не в состоянии ее сдержать.

Мы закатились в другой клуб – «Вирус», – там тоже не было ни Буца, ни его придурков.

– Прогуливают, – сказал Шорох, ласково глядя на выходящих из клуба девушек.

Я вышел на улицу вслед за ним и скосился на своего товарища. Если меня тешила радость, что Буц отсутствует, то Шороху вообще было все равно: есть так есть, нет так нет.

Ситуация с Грехом оставалась непонятной – он любил разные заварухи, но ему, думаю, нужно было пребывать в уверенности, что все хорошо закончится. А тут еще нависал вопрос, к чему дело идет.

Зато Лыкову вся эта история явно нравилась. Он и дрался нисколько не волнуясь – и даже как бы ликуя. Его мужество выглядело столь замечательно, что мне приходилось убеждать себя, будто Лыкову отбили голову, когда он боксировал в юности, и с тех пор в нем поломались отдельные важные инстинкты. Его ленивое, улыбочивое мужское превосходство надо мной выглядело слишком очевидным.

Пока я размышлял обо всем этом, из клуба вышла Гланька и быстро зацокала в сторону такси.

Шорох ее узнал и застыл.

Я побежал – ну, почти побежал, – следом за ней, нагнал, когда она уже садилась – на сиденье рядом с водителем. Дверь захлопнулась прямо передо мной – догадываюсь, что выглядел я глуповато в глазах Шороха. Мало того, она меня то ли не видела, то ли нарочно не замечала – хорошо хоть водитель приметил. Гланька что-то сказала ему, быть может, поинтересовалась, почему стоим, – он тогда кивнул на меня. Она, чуть сощурившись, взглянула, кто это тут.

Не сразу решила, что делать, – сначала убрала сумочку, вроде бы решив выйти, но потом раздумала, просто приспустила стекло.

Молча кивнула.

– Домой уже? – спросил я.

Она еще раз кивнула.

– Буц где? – вдруг спросил я.

Она посмотрела на меня внимательно, потом отвернулась и ответила негромко:

– Не знаю.

– Он тебе не звонил?

– Я звонила ему. Он пьяный. Слушай, ну, пока.

Гланька закрыла дверь, заведенная машина тут же тронулась и поехала.

«Похоже, Буц реально обломался с нами», – с удивлением думал я. Никак не ожидалось, что все это случится так просто.

Я все не решался поднять глаз, – казалось, что Шорох смотрит на меня иронично, – а как еще ему смотреть на товарища, бегающего за машиной такси.

Но все обошлось – ребята мои, все трое, резвились, играя в какую-то непонятную игру у выхода.

Подойдя ближе, я понял в чем дело: откуда-то выскочила мышь, и три моих бродяги прыгали по мартовским ломким лужам, пытаясь ее затоптать. Может, это и получилось бы у любого из них – но пацаны мешали друг другу, толкаясь и хохоча.

Праздник поломал какой-то тип в кожанке, сначала окликавший пацанов, чтоб обратили на него внимание, а потом вдруг резко схвативший Греха за куртку на спине. Я даже поперхнулся, когда это увидел.

Грех в первую секунду подумал, что это кто-то из своих, – Шорох или я, – оглянулся с раскрытым и радостным ртом, и увидел перед собой постороннее лицо. Лицо оказалось на полбашки выше Греха – хотя в самом Грехе было под метр девяносто.

– Чего такое? – спросил Грех, физиономия его из счастливой в одно мгновение стала свирепой, хотя, казалось бы: те же глаза, тот же нос, те же губы...

– Вы обрызгали мою подругу, – сказала лицо, кивнув головой. Грех даже не посмотрел, куда ему кивают.

Неподалеку действительно стояла отлично приодетая девица и в явном раздражении оттирала ладонью красивый плащ.

– Может, ты сам обрызгал свою подругу? – спросил Грех. – Чтоб она не залетела?

Не затягивая разговор, Грех тут же попробовал правый боковой, но противник оказался быстр – удар пришелся по воздуху. Зато Греху тут же вернулось по лбу так, что он укатился к самому выходу.

У выхода стояли две лопаты – деревянная и железный совок.

Это я еще успел заметить, а все, что происходило потом, – посыпалось невпопад, наперекосяк и в разные стороны.

Лицо оказалось из северной группировки – той самой, что делила город с Буцем. На помощь лицу выпрыгнуло еще пятеро из клуба, потом присоединились двое из подъехавшего такси – но они, к счастью, не вписались за северных, а больше успокаивали их, не забывая кричать нам про то, что «...вам теперь смерть, псы! вас положат!».

Нас действительно могли бы положить, по крайней мере, Шороха сразу загнали в угол двое здоровых кабанов, а я от третьего пропустил хороший удар по зубам, и следом сразу в висок, едва не вырубился, и дальше старался держать противника подальше, работая ногами.

– Чего ты лягаешься, бык? – орал он. – Иди сюда!

Тут еще набежало восхитительно много девок – словно у каждого из северных было по две голосистых весенних подруги, – они, вскрикивая и жутко матерясь, сновали туда-сюда, сразу растрепавшиеся и мокрые, как половые тряпки, а некоторые почему-то еще и в крови. Одна потеряла то ли кулон, то ли серьгу и ползала по ступеням в поиске.

Я схватил одну из девок, толкнул к своему противнику, он поймал ее в охапку, отвлекся. Тут-то я, наконец, попал ему ровно куда хотел.

– Бык, бля, – ревел он, сидя на заднице, и пытаюсь раскрыть покалеченный глаз.

Раздался визг – причем визжала явно не одна девка, а несколько, – я огляделся и понял, в чем дело: Грех, наконец, обнаружил лопаты и теперь ловко работал сразу двумя – благо у него руки длинные, а деревянная тут же обломилась по самый черенок о хребет того самого лица, у которого обрызгали подругу.

Железной лопатой Грех с яростью оходил тех двоих, что загнали Шороха в угол.

Одновременно Лыков справился с доставшимися ему сам.

Только здесь мы, наконец, поняли, что драться больше не с кем.

Остались одни девки – я отбегал от них, потому что не имею привычки обижать женщин, Лыков тоже не знал, как себя вести, будто танцуя меж этих истеричек, зато Грех махнул пару раз лопатой вокруг себя, и они отстали, не рискуя приближаться, но лишь продолжая орать что-то обидное. Голова кружилась от этого ора.

Лишь та, которую обрызгали, молча стояла на том же самом месте, мало того – по-прежнему оттирала свой плащ.

– Обрызгал я тебя? – спросил Грех. – Сейчас замоем.

Он подхватил лопатой мерзлой грязной жижи из ближайшей лужи – получилось густо – и плеснул. Если б она случайно опрокинула себе блюдо баланды на плащ, и то не вышло б так мерзотно.

Тут я обратил внимания на сам совок – он был так жутко выгнут, будто по нему проехала гусеничная машина.

«Это ж с какой силой нужно бить...» – подивился я и с некоторым сомнением осмотрел северных – живы ли, целы ли. Все они, вроде бы, пошевеливались.

– Ты посмотри на лопату, – сказал я Греху, застегивая расстегнувшиеся часы на руке.

– Эх, ты, ни хера, – удивился он сам, крутя совком. – Об кого ж я его так...

Грех потрогал совок – и убедился в том, что я различил и на глаз: это было крепкое железо, а не какой-нибудь мягкий сплав.

Двое из такси, обещавшие нам гибель, спешно подхватили под локотки девушку в запорченном плаще и увели ее к машине. Потом вернулись за еще одной, у которой лицо было залито кровью, только непонятно, чьей именно.

Проходя мимо, она обозвала Греха дурным словом. Грех тут же, не раздумывая, гулко втесал ей тыльной стороной гнутого совка по заднице. Девка хэкнула горлом так, словно слово, которое она собиралась произнести, выпало наземь, да так и не нашлось.

Поняв, что делать нам больше нечего, мы пошли к своей «восьмерке».

Шорох зачерпнул из лужи – ему досталось больше всех – и прикладывал холодную ладонь то к щеке, то к носу.

Лыков, усевшись за руль, долго разглядывал костяшки кулака: руку он, похоже, выбил.

Грех болезненно играл лицом, направляя челюсть.

Я трогал явный синяк под глазом, и ребра что-то болели – хотя не помню, что б мне туда попадало.

За всем этим забылось, как я побежал к Гланьке со ступеней клуба. По крайней мере, Шорох про это ни разу не вспоминал.

То, что мы всех уделали, во всей полноте нам стало ясно только на следующий день.

Мои синяки уже не так болели, рука у Лыкова зажила, Грех налепил себе пластырь на бровь, а по обмороженному лицу Шороха вечно было не понять – битый он или нет. В общем, когда мы встретились – всем сразу стало весело.

В голос радовались, рассказывая каждый какую-то свою собственную, а нисколько не общую баталию, пока не пересохло в глотках.

Потом Лыков говорит:

– А можно навестить тех типов, которые Шороха пытались уделать еще в первый раз.

– Да ну? – не поверили все разом.

– Серьезно, – ответил Лыков. – Они в травме лежат, где папка работает.

– У тебя отец Айболит? – удивился Грех.

– Ага, – заулыбался татарской рожей Лыков.

– А чего мы тогда не пьем медицинский спирт по утрам? – спросил Грех.

– Он честный врач, – сказал Лыков с явной издевкой над своим родителем.

– Чё с буцевскими-то? – поинтересовался Шорох про то, что было любопытно ему, – он алкоголь не терпел.

– В травме лежат, – еще раз повторил Лыков. – Папка матери рассказывал вчера на кухне, что приезжал какой-то борзый волк в наколках и гонял там медсестер. А главврач шепотом раскрыл отцу, что это вор по имени Буц, который навещал своих ребят.

– Поехали, – сразу предложил Грех.

Мы, толкаясь и дурачась, пошли к «восьмерке», каждый посчитал нужным стукнуть ей по маленькому колесу ногой. Лыков за всем этим добродушно наблюдал.

Машину он припарковал возле железных ворот больницы – через шлагбаум решили не проезжать, хотя можно было бы добазариться. Ушел в здание, минут через десять появился, помахал нам.

В фойе нас встретил отец Лыкова, на нем был голубой врачебный халат. В халате старший Лыков смотрелся внушительно и серьезно. Мы оставили свои куртки в раздевалке. Вослед за отцом прошли под надпись «Запасной выход», оказавшись в каменном коридоре с облупившимися стенами. На руке старший Лыков держал четыре белых халата, которые не глядя раздал нам.

– Друзья? – еще раз переспросил старший Лыков у сына.

– Друзья, друзья, – ответил сын, натягивая халат.

– Странные у тебя друзья, – заметил отец; и я, наконец, понял, что он спрашивает не о нас, а о тех, кого мы собрались навестить.

– Четвертый этаж, первая же палата справа, – сказал старший Лыков и, не попрощавшись, шагнул за дверь обратно в фойе.

По тому, как общались Лыковы друг с другом, в который раз мне стало ясно, что отец с сыном понимания не имеют. Наверное, на матери все держится, которая любит их обоих.

– Тут есть женские палаты? – оправляя на себе белый халат, поинтересовался Грех у Лыкова, пока мы поднимались. – Я хочу обход совершить. Какие-нибудь старшекласницы с насморком – вот к ним бы попасть. Есть такие?

В кармане Грех нашел докторскую шапочку, немедленно натянул ее и стал совсем красивый; заодно и пластырь на брови спрятал.

Я поискал такую же шапочку в своем халате, но у меня не оказалось.

На четвертом мы сдвинули щеколду, открыли дверь и, оглядевшись, гуськом перебежали в искомую палату – благо до нее было несколько шагов. Медсестра на дежурном посту в середине коридора вроде бы и не посмотрела в нашу сторону.

В палате было три койки, две из них заняты – я в лицо из лежавших никого не видел, зато Шорох сразу признал обоих больных.

Один, с забинтованной головой, сидел на кровати со скучающим видом. Второй лежал, нога его была загипсована и поднята к потолку на специальном тросике.

Лежачий поначалу ничего не понял и, похоже, первую минуту всерьез попутал Греха с доктором, тем более что он степенно поздоровался и объявил о внеочередном осмотре.

– Прикольно, – сказал Грех, постучав по загипсованной ноге пальцем. – И никуда не сбежит.

Раненый в голову, озираясь, встал с кровати, но, подумав, опять сел. Он-то явно припомнил наших пацанов. Лыков сразу прошел к нему и, присев рядом, немного покачался в кровати, вроде как проверяя, мягкая ли.

Шорох упал на третью – пустую – койку и, не глядя, потянул к себе газету с соседней тумбочки. На газете лежало яблоко.

Грех все стоял рядом с лежачим, осматривая конструкцию, поддерживающую ногу.

– У тебя эрекция, наверное, все время? – поинтересовался он. – Кровь приливает от ноги! А прикинь, какой стояк будет, если обе ноги поднять? Ужас. Ты давай не шали тут. Чтоб мы не краснели за тебя.

Лежачий все никак не мог сообразить, что происходит и криво улыбался.

– Можно яблоко? – спросил, повернувшись, Шорох у второго, с забинтованной головой. Не дожидаясь ответа, он развернул прессу и тут же беззвучно надкусил зеленый фрукт.

Грех тем временем подошел к голове больного, потрогал у него подушку, спросил, не сырая ли.

– Да нет, – ответил лежачий, силясь поднять голову.

– А смотри как можно, – сказал Грех. – Вот ты лежишь на подушке, и тебе удобно. А теперь смотри, вот так – хоп! хоп! хоп!

С этими словами Грех ловко вырвал у лежачего подушку из-под башки, тут же бросил ее на лицо и начал вполне серьезно душить парня.

Продолжалось это недолго, но я даже заволновался, глядя, как лежачий трясет загипсованной ногой и мычит под подушкой, силясь вырваться.

Грех, наконец, его освободил, поясняя:

– Видишь, как все рядом в жизни! Так... – он неловко сунул подушку лежачему под голову, – ...это предмет обихода, а вот так... – Грех опять ее резко вырвал и бросил на лицо, – ...уже вешдок!

– Доктор, ты сдурел, что ли? – заорал, наконец, лежачий, пытаясь освободиться и выхватить подушку из длинных грешных рук.

– Ладно, не буду, не буду, – ответил Грех, совсем забирая подушку. Осмотрел ее еще раз с разных сторон и кинул к дверям, на пол.

– Подушка – это вредно, – пояснил Грех больному. – Кровь в голову не поступает, а у тебя и так заторможенное развитие. Лежи лучше ровно. Как в гробу.

– Это не доктор, слышь, – наконец процедил второй, забинтованный, своему бестолковому сотоварищу.

Лыков тут же вlepил забинтованному гулкий подзатыльник.

– Ай! – искренне удивился он. – Бля, как больно! – схватившись за уши, парень некоторое время сидел, подвывая. – У меня же сотрясение! У меня трещина!

Лыков заикался так, что на глазах показались слезы. Давясь от смеха, сказал Греху:

– Грех! А у этого трещина.

– Жрет, наверное, в один рот, пока товарищ в гипсе. Вот едало и треснуло, – предположил Грех.

Шорох положил огрызок на тумбочку, спрыгнул с кровати и приладил в дверях, продев меж ручек, швабру – чтоб никто не вошел некстати.

Грех оставил загипсованного и перешел ко второй койке. Не спрашиваясь, залез в тумбочку и воскликнул:

– Ну, я так и знал! Тут целый фруктовый сад.

– Сейчас мы тебя накормим, – пообещал Грех тому, что с ногой. Нашел апельсин, лимон, мандарин и снова вернулся к первой койке.

– Вот, покушай, – предложил. – Хочешь?

– Не хочу.

– Хочешь, – решил Грех.

Он протянул лимон прямо к лицу больного, тот сжал зубы.

Грех что-то покрутил в установке, и загипсованная нога вдруг резко упала почти до самой кровати. Больной вскрикнул, Грех тут же угодил ему лимоном в рот.

– Жуй, сказал, – зарычал Грех. – Жуй! Тебе надо. И с кожурой, смотри. В коже все самое полезное. Жуй, сука.

Лимон ушел в три укуса вместе с косточками. Теперь плакали уже двое – Лыков и тот, что в гипсе. Тем более, что после лимона ему достался мандарин, а следом апельсин – и тот и другой опять же в кожуру.

– Во-о-от, – радовался Грех, вытирая сладкую руку об одеяло. – Сразу на выздоровление пойдешь. В корках все необходимое есть... Надо было еще арбуз тебе купить. Представляешь, что с тобой было б, если б ты целый арбуз с рук умял? Его главное надкусить, а дальше хорошо пошло бы. Мне бабка варенье делала из арбузных корок. Вкусно – вообще. Хочешь арбузных корок еще? Нет? А каких корок хочешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.